

К. СЛУЧЕВСКИЙ

с 49

Р 27598



Б И Б Л И О Т Е К А П О Э Т А
малая серия № 51.

К. СЛУЧЕВСКИЙ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Редакция
и вступительная статья
А. В. Федорова

ЛЕНИНГРАД
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1941

К. К. СЛУЧЕВСКИЙ

Константин Константинович Случевский родился в год смерти Пушкина — в 1837 г. (26 июля) в Петербурге и умер 25 сентября 1904 г. Он — младший современник Фета, Майкова, Полонского и старший современник символистов. Его поэзия отражает разноречивость и разнообразие литературной жизни эпохи, в которой он жил.

Родился он в семье видного чиновника, сенатора — Константина Афанасьевича Случевского. Готовили его к военной карьере. Он учился в Петербурге в I кадетском корпусе. По окончании корпуса служил в Семеновском полку и в 1-м Стрелковом батальоне, затем продолжал свое военное образование в Академии генерального штаба. Военную службу он в 1860 г. бросил и, выйдя в отставку, уехал за границу — учиться. Он слушал лекции в Париже, Берлине и Гейдельберге, в университете которого получил степень доктора философии. Вернувшись затем (в 1866 г.) на родину, он вскоре вступил на гражданскую службу, в Главное управление по делам печати, откуда перешел (в 1874 г.) в министерство

государственных имуществ; там он оставался вплоть до 1891 г., постепенно поднимаясь по ступеням чиновно-иерархической лестницы. С 1891 по 1902 г. он был главным редактором «Правительственного вестника», под конец жизни состоял членом совета министерства внутренних дел, являлся, кроме того, членом ученого комитета министерства народного просвещения и имел придворное звание гофмейстера. Некрологи и биографы поэта особенно подчеркивали успешность его служебной деятельности, служебные удачи, перечисляли чины и звания, которых он достиг к концу своей карьеры, отмечая при этом, что «внешняя жизнь Случевского не сложна и довольно прозаична» (некролог в «Историческом вестнике», 1904, № 11).

В поэзии он дебютировал рано, двадцати лет. Это было в 1857 г. В «Общезанимательном вестнике» за этот год, в №№ 3, 9 и 11, было напечатано несколько оригинальных его стихотворений и несколько переводов из Байрона, Гюго и Барбье. Подписаны одни из них были К. С., другие — К. С.—чевский. Но обратить внимание на поэта заставили не эти вещи, а стихотворения, напечатанные в 1860 г. в «Современнике» и в «Отечественных записках». Сам Случевский, в рассказе «Одна из встреч с Тургеневым», вошедшем в один из его прозаических сборников, вспоминает по этому поводу следующее:

«Стихотворения эти были доставлены Некрасову помимо меня следующим образом. Всеволод Крестовский, тогда еще студент, мой приятель, передал их Аполлону Григорьеву... Григорьеву стихотворения мои очень понравились. Он просил Крестовского привести меня к нему, что и было исполнено... Помню как теперь, что я прочел «Вечер на Лемане» и «Ходит ветер избо-чась». Григорьев пришел в неопиcуемый восторг, предрек мне «великую славу» и просил оставить эти стихотворения у себя. Несколько дней спустя, возвратившись с ка-кого-то бала домой, я увидал, совершенно для себя неожиданно, на столе корректуру моих стихотворений со штемпелем на них «Со-временник», день и число. Как доставил их Григорьев Тургеневу и как передал их Тур-генов Некрасову и почему дан был мне та-кой быстрый ход, я не знаю, но стихи мои были напечатаны».

О своем дебюте в «Современнике» Слу-чевский рассказывает почти как о дебюте дилетанта, ничем не связанного с направле-нием журнала. Журнал этот, впрочем, наряду со статьями Чернышевского, Добролюбова и стихами Некрасова, печатал также и стихи Фета (до 1859 г.). Печатал он в этот период и молодых поэтов, подающих надежды.

Случевский начинал приобретать популя-рность. Стихи, появившиеся в январской книж-ке «Современника», а затем — в других его номерах, и в «Отечественных записках» за

этот же год, безусловно были замечены читателями и стали предметом гиперболических похвал и яростных нападок со стороны критики. Хвалебная оценка исходила от Ап. Григорьева. В своих «Беседах о современной нашей словесности и о многих вызывающих на размышления предметах» (в журнале «Сын отечества») он, пользуясь формой диалога с неким вымышленным своим приятелем Иваном Ивановичем, вложил последнему в уста следующее суждение о Случевском: «Тут размах силы таков, что из него, вследствие случайных обстоятельств, или ровно ничего не будет, или уж, если будет, то что-нибудь большое будет. Да-с!..»

«... Это не просто высоко даровитый лирик, как Фет, Полонский, Майков, Мей, это даже не великий, но замкнутый в своем одиноком религиозном мирозерцании поэт, как Тютчев... Тут сразу является поэт, настоящий поэт, непохожий ни на кого поэт, а если уж на кого похожий, так на Лермонтова».

Резкое своеобразие стихов Случевского местами имело почти вызывающий характер, воплощая некоторые крайности современной им лирики. Все это, в соединении с гиперболическостью похвал по их адресу в статье Григорьева, подало повод к насмешкам со стороны «Искры» и к появлению в ней пародии на них. Вокруг стихов Случевского и статьи Ап. Григорьева завязалась целая полемика.

По поводу напечатанных в январском «Современнике» стихотворений «На кладбище», где есть строка о жуках, которые «летали, лбами стучаясь», и «Ходит ветер избочась», В. Курочкин (под псевдонимом Пр. Знаменского) писал в «Искре» (1860, № 8, статья «Критик, романист и лирик»):

«Обыкновенные читатели, вероятно, спотыкнутся на первых же стихах этих стихотворений. Им покажется очень странным обыкновение г-на Случевского отдыхать на кладбище; ветер, стелющий снегом калачи кривобокой бабы, покажется им просто бессмыслицей. . .»

Этот упрек был вызван смелым и необычным, почти рискованным характером образов, которые вовсе и не были рассчитаны на строго-логическую расшифровку их прямых значений. Упрек, который они вызвали, был, однако, не нов. Нечто аналогичное (хотя, конечно, далеко не тождественное) в 40-х годах высказывалось по адресу Фета.

Но это была только одна сторона дела. Отдельными своими чертами стихи Случевского, возникшие в общем русле лирической поэзии середины века, соприкасались с творчеством некоторых его современников. И в статье «Искры» был высказан упрек в подражательстве, в эклектизме, в сходстве со всеми современными лириками — как выдающимися, так и незначительными.

В том же номере «Искры» в «Литературных вариациях» Н. Л. Гюта (Ломана)

была помещена пародия на стихотворение «На кладбище», вышучивавшая и разговор с мертвецом, и все образы из мира природы, и строку о жуках, стучающихся лбами.

Случевский продолжает привлекать внимание «Искры». Почти каждое его стихотворение, появлявшееся в журналах, вызывало и сатирические замечания, и пародии.

В самом «Современнике», который полгода назад открыл стихам Случевского доступ на свои страницы, в середине лета 1860 г. появилась рецензия Добролюбова на «Перепевы» Обличительного поэта (т. е. Д. Минаева) — сборник пародий. Поэтам-пародистам и пересмешникам здесь было отдано предпочтение перед лириками, пишущими всерьез. Здесь же — пренебрежительный перечень, в котором фигурировало имя Случевского. В «Современнике» же появилась пародия Добролюбова на стихотворение «Мои желанья».

Случевский надолго перестал печатать свои стихи. Напечатать он пока что успел очень, в сущности, немного. Но стихи его, равно как и полемика вокруг них, запомнились. Отклики полемики слышались в «Искре» еще в конце 1861 г.

Но и положительное впечатление произведенное ранними стихами Случевского, при всей их немногочисленности, было очень сильное, — настолько сильное, что упоминания о них именно в связи с первым их появлением встречались еще и в критике 80-х годов.

Отъезд Случевского из России в 1860 г. и четырехлетнее пребывание его за границей стоят в связи с той неудачей, которую потерпели его стихи. Неудача эта не была случайной личной неудачей поэта, это была неудача определенного литературного направления, доведенного до крайности. Надежды «Искры» были, конечно, отнюдь не простым зубоскальством; они имели принципиальный характер. Если осмеянию подвергались некоторые черты, общие Случевскому с его современниками и характерные для целой группы поэтов, то больше всего поразили в его стихах особенности, представлявшие явное отклонение от принятых норм — от обычной «красивости» и смысловой гладкости массовой лирической продукции эпохи и, в частности, стихов о природе.

«Стukaющиеся лбами» жуки или «избочившийся ветер» не были результатом небрежности или неумелости. Эти — и некоторые другие, подобные им образы — свидетельствовали о попытке смелого обновления выразительных средств, попытке очень резкой по своему времени, в какой-то мере параллельной опытам ранних французских декадентов, — «проклятых поэтов» и даже предвещающей футуризм. А со стихотворением «Мемфисский жрец» недаром перекликается брюсовская баллада о «жреце Изиды среброкудрой». Но попытка оказалась преждевременной.

Стихотворения «На кладбище», «Ходит

ветер избочась» и некоторые другие из числа ранних Случевский не включил ни в одно из собраний своих стихов, а критику «Искры» воспринял как травлю со стороны гонителей «чистого искусства». После возвращения из-за границы он (в 1866—1867 гг.) издал серию брошюр: «Явления русской жизни под критикою эстетики». Брошюры эти имели характер полемический и были направлены против современного радикализма. В нападках Случевского на «разрушителей» эстетики, т. е. в конечном счете на деятелей прогрессивно-демократической критики, восстававшей против искусства безыдейного, против «искусства для искусства», но в лице отдельных своих представителей (как, например, Писарев) очень сужавших понятие идейного, современники усматривали проявление личной обиды, оскорбленного самолюбия. Для творческой практики Случевского его брошюры, впрочем, не характерны, ибо отношение поэта к жизни и к литературе становилось и сложнее и полноценнее и отнюдь не могло бы уместиться в рамках «искусства для искусства».

Брошюры были замечены, вызвали некоторый шум, но еще не означали возвращения Случевского к литературной деятельности. Как поэт, он до середины 70-х годов воздерживается от печатных выступлений, хотя писать стихи продолжает. История его творчества бедна хронологическими данными, но есть основания предполагать, что целый

ряд стихотворений, вошедших в позднейшие собрания, возник гораздо раньше.

Наконец, стихи Случевского начинают появляться в печати — сперва в благотворительных сборниках «Складчина» (СПб., 1874) — в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии, и «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины» (СПб., 1876), затем — в «Русском вестнике» и «Новом времени». В 1880 г. выходят отдельным изданием «Стихотворения К. Случевского». За ними в 1881 г. следуют «Стихотворения. 2-я книжка», в 1883 г. — «3-я книжка (Поэмы. Хроники)», и, наконец, в 1890 г. — «Книжка четвертая». Часть из того, что вошло в состав этих книг, первоначально появлялась в периодической печати.

В течение 1880—1890-х годов выходит ряд прозаических произведений Случевского: повесть «Виртуозы» (1882), «Застрельщики» (1883), «Тридцать три рассказа» (1887), «Профессор бессмертия» (1892), «Исторические картинки и разные рассказы» (1894). Кроме этих беллетристических вещей, выходят в свет его географо-этнографические труды, плод путешествий по России: в 1888 г. — «По северу России», в 1897 г. — «По северо-западу России». Впечатления, вынесенные им из путешествий по этим местам, оставили много следов и в его поэтическом творчестве (стихи о севере, цикл «Мурманские отголоски»).

В 1898 г. вышли в шести томах «Сочинения» Случевского (СПб., изд. А. Ф. Маркса). Первые три тома заключают стихи, остальные три — прозу. Наконец, в 1902 г. выходит последняя книга стихов — «Песни из «Уголка» (СПб., изд. А. Ф. Маркса). Стихи, печатавшиеся поэтом за последние годы жизни в журналах — «Русском вестнике», «Книжках недели», «Новом пути», в альманахе «Северные цветы», уже не объединялись в отдельные сборники.

Итак, литературная деятельность Случевского была довольно продуктивна. Но критики, писавшие о поэте, недаром, касаясь его биографии, останавливались на его служебных успехах. Книги стихов, изданные с 1880 по 1890 г., прошли мало замеченные читателем, вызвали в критике сравнительно мало откликов. А те отзывы, какие появились по поводу их, были большей частью отрицательны. Так, по поводу третьей книжки «Стихотворений» Случевского (1883) С. Надсон писал, что поэт «и в отношении формы и в отношении содержания регрессировал с каждой написанной им строфой».

Гораздо более положительное отношение встретила проза Случевского — разнообразная по темам (бытовым, историческим, этнографическим), сравнительно простая по языку. В отличие от стихов она была замечена читателем и приобрела известную степень популярности; но со стороны критики она тоже особого внимания не при-

влекла. Настоящего успеха Случевский добился все же как поэт — но лишь в последние годы жизни.

Успех этот был связан с изданием его сочинений в 1898 г. Три стихотворных тома этого собрания содержали очень мало нового, сравнительно с четырьмя книжками «Стихотворений» 80-х годов. Прибавился лишь цикл «Песни из «Уголка», представлявший собой примерно треть состава будущей книги под тем же заглавием, да изменено расположение по циклам отдельных стихотворений. На этот раз они обратили на себя внимание и публики и критики разнообразных направлений, вызвав целый ряд статей, где поэзия Случевского была признана весьма значительным явлением русской литературы. Однако критические статьи о ней, особенно те, что были писаны ашологетами творчества Случевского, очень плохо помогают разобраться в его особенностях. Они в лучшем случае представляют пересказ основных тем и мотивов его поэзии, но несколько не определяют ее специфических черт и ее соотношения с поэзией современников. Критики-панегиристы очень настаивали на «самобытности» этой поэзии, полной ее оригинальности и отсутствии в ней подражательности.

В журнале «Космополис» за 1898 г. (т. VI, апрель — июнь) была напечатана статья В. С. Соловьева о Случевском: «Импрессионизм мысли» — по поводу книжек

«Стихотворений» 1880—1890-х годов. Критик говорил здесь: «Отсутствие подражательности, не только намеренной, но даже невольной и бессознательной, есть черта, которая прямо бросается в глаза при чтении его книжек. Самые неудачные страницы у него можно упрекнуть во всем, кроме подражательности». Но, разумеется, отсутствие подражательности и подлинная самостоятельность поэта отнюдь не противоречат факту многообразных его соприкосновений с окружающей его литературой и нисколько не означают полного отсутствия черт, сближающих его в той или иной мере с литературными деятелями его времени. Критик «Искры», иронизируя над стихами молодого Случевского и несправедливо отрицая их своеобразие, все же подчеркивал их сходство со стихами многих его современников.

По поводу стихов Случевского критика чаще всего называла имена Фета, Майкова, Тютчева, Ал. Толстого, Полонского. Спрашивается — в какой же степени связано его творчество с их поэзией? Некоторые — довольно существенные — точки соприкосновения с ними у него есть (работа в области тех же жанров, тот же, примерно, круг, из которого он черпает свои образы, одинаковость художественных симпатий). Черты отличия, однако, огромны. Поэзия Случевского в целом очень мрачна и глубоко трагична. В сравнении с нею вер-

дом жизнерадостности представится поэзия Фета, Майкова, Ал. Толстого. Пессимизм Случевского — пессимизм, так сказать, универсальный. Он тесно связан с пессимистическими течениями в области современной поэту идеалистической философии, главным представителем которой в Западной Европе был Шопенгауэр. Пессимизм этот распространяется у Случевского на все явления жизни — личной и социальной — и имеет следствием остро-критический взгляд на окружающую его действительность, которая отнюдь не оставалась вне поля творческого зрения поэта. Круг его тем и образов, материал его наблюдений был обширен.

Один из позднейших критиков (и тоже почти апологетов) Случевского — П. Краснов — в статье с характерным заглавием «Вне житейского волнения»¹ так объяснял причины долгой непризнанности поэта: «...непонимавшие его современники имеют свое оправдание. Никогда К. К. Случевский не шел о том, чем интересовалось и жило общество в данную эпоху. Его поэзия — узкоиндивидуальная. Это поэзия вне жизни, живущая особым миром...» Объяснение — совершенно неправильное, не соответствующее содержанию самой поэзии Случевского — и несколько не случайное. Оно характерно как одна из попыток представить Случевского в качестве «чистого» поэта, далекого от дей-

¹ «Книжки недели», 1898, сентябрь, стр. 183.

ствительности, от современности. Очень показательны то, что, давая характеристику поэтического творчества Случевского и очень пространно цитируя мало типичные для него стихи, часто сбивающиеся на «общие места» русской лирики конца века, критики-апологеты совершенно не упоминали о таких вещах, как, например, стихотворения «На Раздельной» («После первой Плевны»), «На рауте», «Из Каира и Ментоны», где вполне отчетливо сказывается отношение поэта к современной ему действительности. Он вовсе не уходит от нее, но, напротив, делает свое отношение к ней темой целого ряда стихов (взять хотя бы цикл «Из дневника одностороннего человека»). Отношение это — глубоко критическое и отрицательное. Недоволен он не только современностью вообще (хотя иногда он и противопоставляет положительный пример прошлого отрицательно обрисованной современности), но также российской действительностью своей поры, пустотой того общества, к которому сам принадлежит, его паразитарностью, ложью и лицемерием, царящими в нем, беспочвенностью всей его жизни. В этом смысле особенно характерно стихотворение «Из Каира и Ментоны». Любопытно также сравнить стихотворение «На рауте» с его первоначальной редакцией (в издании 1880 г. в первой книжке «Стихотворений»). Там оно было много длиннее и называлось «В немецком замке». В нем описывался бал «в не-

мецком замке» и была дана презрительная характеристика собравшегося там общества. В издании 1898 г. поэт отсек всю его первую часть, приуроченную к какому-то конкретному месту и конкретному случаю, и оставил лишь характеристику светского общества, озаглавив все стихотворение «На рауге», т. е. придав ему более общий смысл и более широкую направленность.

Целый ряд стихотворений Случевского показывает, что он далек был от мирного и благодушного приятия действительности, что он остро ощущал неблагополучие и несправедливость существующих общественных отношений и что, придерживаясь сам консервативной идеологии и консервативной политической ориентации, он явно ощущал общественные противоречия русской жизни.

Неблагополучие всего социально-экономического строя было таково, что и в самих «хозяевах жизни», в их идеологах, по крайней мере в наиболее сознательных представителях дворянско-бюрократической интеллигенции, оно вызывало и тревогу, и сомнения, находившие себе отклик в разных жанрах литературы, вплоть до лирики природы.

В прозе гениальным выразителем этих тревог и сомнений был Достоевский. Но у писателя, чье творчество построено на идеалистической основе и чуждо революционности, противоречия окружающей его

действительности вызывают противоречие и в самом его сознании, противоречие между отрицанием этой действительности, с одной стороны, и с другой — невозможностью побороть ее, найти реальный выход, стремлением к поискам метафизических ценностей. Для Случевского это противоречие существовало в полной мере, и он был бессилён преодолеть его.

Мы знаем, что из современных русских писателей он выше всех ставил Достоевского. На смерть его он отозвался стихотворением «После похорон Ф. М. Достоевского», стихотворением художественно слабым, но показательным как восторженное признание Случевским исключительной роли этого писателя. Достоевский был ему безусловно близок — притом именно в плане критического восприятия окружающей жизни. «Дневник одностороннего человека» является в стихах некоторой параллелью к «Запискам из Поднолья». Разница в силе таланта и в масштабе общественного значения их творчества слишком значительна и слишком важно различие жанров, чтобы имело смысл проводить более детальные аналогии, хотя отдельные особенности художественной манеры Достоевского, связанные именно с трагическими противоречиями сознания, находят себе соответствие у Случевского-поэта (не прозаика). Я имею в виду не только выбор его тем, но и постоянный контраст между высокой абстрактной темой (иде-

альное, иррациональное) и низкими, грубыми конкретностями жизни (детали быта, поведение персонажей), прозаизмами речи, о которых речь будет в дальнейшем. Недаром Валерий Брюсов всю свою статью-некролог о Случевском (в «Весах», 1904, № 10) озаглавил: «Поэт противоречий».

Та критика действительности, которую мы встречаем в стихах Случевского, являлась, конечно, критикой сверху. Она не мешала поэту писать так же, как это делали Майков и Фет, стихи «на случай» в монархическом духе по разным торжественным поводам (вроде коронаций, юбилеев и т. п.), стихи, не имеющие поэтической ценности. Но зато в тех случаях, когда наружу проступали общественное негодование и обличительная ирония (как в «Дневнике одностороннего человека»), Случевский достигал такой степени резкости, какой мы не найдем ни у кого из поэтов, наиболее ему близких. — ни у Майкова, ни у Фета, ни у Полонского. Социальный облик Случевского — сперва офицера, начинавшего блестящую военную карьеру, потом крупного чиновника — несколько не противоречит возможности подобных литературных выступлений (история литературы знает много таких примеров). Не противоречат этой возможности также и несомненная упадочность целого ряда его поэтических тем и мотивов и, в частности, то значение, которое в его творчестве приобретают тема иллюзорности

внешнего мира (восприятия сквозь призму идеалистической философии его времени) и тема смерти, а также все образцы, с нею сопряженные. Из отрицательного отношения к окружающей действительности порою в стихах Случевского вытекает и отрицание жизни, насмешливое признание превосходства смерти. Всего резче оно сказалось в замечательном стихотворении «Камаринская» — в словах, которыми обмениваются там только что покинувшие жизнь нищие и сумасшедшие («Не вернуться ли нам жить?» — «Ой, не хочу! Из покойничков в живые нам не лезть. Знаем, видим — лучше смерть, как ни на есть!»).

Другое, не менее трагическое стихотворение — «После казни в Женеве» — завершается нотами обвинения и вместе с тем иронии. После двух строф, посвященных виденной поэтом казни, — тема бреда и кошмара: поэта колесовали, и он, превратившись в струну, попал «на балалайку» к некой схимнице (в первой редакции — к монахине), которая, в раннем варианте стихотворения, пела: «В крови горит огонь желанья». Во второй редакции последняя строфа изменена, и стихотворению придан еще более резкий в идейном отношении оттенок. Схимница здесь поет: «Коль славен наш господь».

Оба эти стихотворения — сравнительно ранние: возникли они в такое время, когда богоборческих стихов еще не писали. Оба

они бесспорно принадлежат к числу самых сильных вещей Случевского. Они являются выражением того пафоса неприятия уродливой и несправедливой жизни, который характерен для всей передовой русской литературы последних десятилетий старого века и начала нового. Эти стихотворения показывают, что поэт, в целом ряде лирических пьес отдававший вовсе пейроническую дань религиозным мотивам (в частности, мотиву бессмертия души и загробной жизни), смог очень своеобразно и энергично откликнуться на настроения, долгое время объединявшие весьма широкие слои русской интеллигенции. Важно отметить, что тот же глубокий пессимизм звучал у Случевского даже и в тех стихах (главным образом, поздних), где он говорил о примирении с жизнью.

Этот пессимизм отнюдь не производит впечатления нарочитой позы или же литературной условности. Впечатляющая сила его, равно как и всей поэзии Случевского, обусловлена очень своеобразным лирическим тоном и с конкретностью того человеческого облика, который прорастает в стихах. Это прежде всего не образ обличителя общественных зол и не ствлеченный образ поэта-«певца». Образ поэта у Случевского в более поздней его лирике (особенно в «Песнях из «Уголка») — образ стареющего русского интеллигента, обеспеченного и усталого человека, живущего в очень

определенной среде и конкретной обстановке. Заглавие последнего его сборника — «Песни из «Уголка» — связано с названием его дачи-усадыбы в Усть-Нарове. Пейзаж Случевского — это конкретный пейзаж, окружающий жилье поэта (сравним цикл «Черноземная полоса»). Конкретность пейзажа и всей обстановки неоднократно подчеркивается им.

Конкретность образа у Случевского тесно связана со всеми особенностями его поэзии — идейными и стилистическими; их взаимосоответствие и есть та основа, которой определяется у Случевского единство творчества, сочетающего в себе лирику природы и лирику чисто личную со стихами на общественные темы, взгляды консерватора с неприятием жизни, с пафосом обвинения.

Критики — особенно те, что хвалили поэта, — нередко ставили ему в упрек известную прозаичность речи. Один из таких критиков — К. Медведский — писал в «Историческом вестнике» (1894, № 9): «Единственное, в чем можно упрекнуть автора, это в спусходительном отношении к так называемым прозаическим оборотам. Случевский, разумеется, легко отнял бы прозаические обороты, если бы придавал им серьезное отрицательное значение». С точки зрения любителей «гладкого» и «красивого» стиха, который, согласно с трафаретным представлением, и должен был со-

ставлять принадлежность «чистой поэзии», прозаические обороты казались недостатком, хотя бы и случайным. У Случевского они, однако, не случайны: они специфичны для его поэзии и обусловлены всей ее системой. Они же вместе с тем свидетельствуют и об известной связи ее поэтического языка с Гейне и с русскими переводчиками и подражателями Гейне, в частности — с теми из них, которые в начале 60-х годов отчетливо выделяли в его поэзии шутливые и разговорно-прозаические элементы.

У Случевского прозаизм, а порою и канцеляризм, оказывающийся не только в выборе слов, но иногда и в построении целых оборотов, играет совсем особую роль. Фету и Майкову эти черты чужды, нет их и у Ал. Толстого в его «серьезной» лирике (т. е. в неюмористических стихах). У Некрасова прозаизмы, как разговорного, так и книжного происхождения, встречаются, главным образом, как средство речевой характеристики персонажей (например, в «Современниках») и как средство, с помощью которого поэт выражает свое сатирическое отношение к теме стихов или к показываемым человеческим типам. Случевский пользуется прозаизмом постоянно, независимо от темы, и с помощью прозаизма приближает язык своих стихов к языку разговорной речи. Так, в стихотворении на философско-эстетическую тему —

«Формы и профили» — он вводит следующие строки:

А сказки снов людских? А грезы всяких
свойств?

Или:

Да, бесконечности одной не понутру
Скоплять все мертвое и сохранять живое.

В стих Случевский смело вносит разговорную простоту и непринужденность — вместе с оборотами, по своему тону напоминающими деловую речь:

*Но если к этому прибавить то, что было,
Мечты счастливые и встречи прежних лет,
Как, друг за дружкой, то шло, то проходило,
Такая-то жила, какой-то не был сед...*

*(„Где только есть земля, в которой
нас зароят“)*

Примеры такого обращения с прозаизмом у Случевского очень часты. Поэт в подобных случаях не ставит себе задачей создание комического эффекта, и цель его по большей части — не ирония. Тема, трактуемая в прозаически фамильярных тонах, не «снижается», а лишь, так сказать, «опрощается»; поэт словно подчеркивает, что о высоких вопросах жизни он рассуждает не как философ и не как певец, а как обыкновенный человек.

Его мастерство — в умении соединить прозаический оборот, прозаический образ с «высоким» и отвлеченным мотивом, в умении быстро преодолеть расстояние между тем и другим. В цикле «Черноземная полоса» одно восьмистишие начинается двумя следующими строками:

Устал в полях, засну *солидно,*
Попав в деревню на харчи.

При чтении этих двух стихов перед нами возникает образ грузного столичного чиновника, приехавшего погостить в имение, или фигура профессора Серебрякова из чеховского «Дяди Вани». Но вот, после следующих четырех строк, посвященных безмятежному ночному пейзажу, который внушает любовь к «божьему миру», — заключение:

По крикнул петел!
Иль я отрекся от себя?

Представление читателя о «герое» стихотворения после такого финала сразу меняется — возникает образ мятущегося человека, стремящегося сохранить свое «я» и не желающего успокоения.

То впечатление тяжеловесности и шероховатости, какое на современную критику производил Случевский, в сильнейшей степени было обусловлено именно постоянным, порою весьма неожиданным применением

прозаизмов, а главное --- канцеляризм и выражений из области научного и делового языка. В стихотворении «Я видел Рим, Париж и Лондон» («Песни из «Уголка») поэт в очень торжественной форме, в романтически приподнятом тоне перечисляет виденное и испытанное им в жизни. С общим строем стихотворения контрастируют лишь два стиха, из которых второй словно взят из учебника экономической географии или физики:

Я слышал много водопадов
Различных сил и вышины.

По поводу этих и им подобных стихов, внезапно нарушающих окраску целого, у читателя может зародиться сомнение: не хотел ли поэт с помощью прозаизма внести элемент самопародии, легкую ноту иронии, расхолаживающую поправку в высокий пафос стихотворения, чтобы мы не принимали его слишком всерьез?

Нельзя ответить на этот вопрос утвердительно. Своеобразие Случевского как стилиста именно в том, что стилистический разноречивой у него порой дается без всяких объяснений. Эту особенность его языка прекрасно определил Валерий Брюсов в статье-некрологе «Поэт противоречий»: ¹ «В самых увлекательных местах своих стихотворений он вдруг сбивался на прозу, неу-

¹ „Весы“, 1904, сентябрь, стр. 1--2.

местно вставленным словом разбивал все очарование и, может быть, именно этим достигал совершенно особенного, ему одному свойственного впечатления. Стихи Случевского часто безобразны, но это то же безобразие, как у искривленных кактусов или чудовищных рыб — телескопов».

Если лирика любви и лирика природы у Случевского отличается большой задумчивостью и действует на читателя искренностью и простотой человеческого голоса, то обуславливается это в известной мере тоже использованием более простого, более прозаического словаря в непосредственном соседстве с «высокими» словами и традиционно поэтическими выражениями. Он пишет:

Но круглым по бокам вороного
Месяц блещет, во-всю озарил.

(Цикл „Черноземная полоса“)

И фамильярно обыденное «во-всю» мирно уживается здесь с поэтическим глаголом «озарил», подобно тому, как вообще в поэзии Случевского разговорные и прозаические черты сочетаются в одно целое с лиризмом, пафосом и философичностью.

Природа играет у Случевского важную роль. Ей у него посвящено много стихотворений. Лирика природы имеет в русской литературе большую и давнюю традицию. Та природа, русская и отчасти западно-

европейская, о которой говорят стихи Случевского, в основном та же самая, какая отразилась в стихах Фета, Майкова, Полонского. Правда, географический кругозор у Случевского, как поэта природы, шире, чем у его современников: так, например, он писал о Мурмане, о Заонежье — о местах, еще неизвестных в поэзии и в его время мало доступных для путешественника. Но, разумеется, не географическая приуроченность того или иного стихотворения определяет специфику стихов Случевского о природе. Для Случевского характерно, что пейзаж его — пейзаж не безлюдный (как у Фета или Майкова). Он не ограничен ролью декорации, на фоне которой разворачиваются психологические состояния поэта. В состав пейзажа у него включаются и образы народа, образы людей, занятых трудом тяжелым и опасным, лишенных жизненных радостей и благ. Таковы в «Черноземной полосе» образы крестьянского труда, в «Мурманских отголосках» — образы рыбаков. Мир Случевского — отнюдь не мир социальной гармонии, и об этом напоминает даже пейзаж. Картина летнего дня и жатвы (в стих. «Полдневный час. Жара гнетет дыханье») завершается сентенцией:

Кто испытал огонь такого неба,
Тот без труда раз навсегда поймет,
Зачем игру и шутку с коркой хлеба
За тяжкий грех считает наш народ.

На фоне картин полярного моря в «Мурманских отголосках» все время проходят фигуры рыбаков, которые постоянно становятся жертвами этого моря, и образы, связанные с подробностями их труда (например, в стих. «Какие здесь всему великие размеры!»). Поэт далек от каких бы то ни было революционных выводов из своих наблюдений, он ограничивается лишь образным оформлением их, но характерен уже самый предмет, на который направляется его внимание, и путь, которым идет мысль поэта.

Ряд стихотворений о природе («Рассвет в деревне», «Вечер на Лемане» и др.) ограничивается у Случевского одним описанием, правда, всегда эмоционально насыщенным и рельефным. Но чаще пейзаж его аллегоричен или символичен. Жизнь природы он любит сопоставлять с жизнью человека — в порядке параллелизма или контраста. В некоторых случаях он делает лишь намек на такое сопоставление или противопоставление, не доводя его до конца. Так, говоря о двух тучах, которые должны столкнуться в небе, он замечает: «Как будто в небе места мало и разойтись им нет путей?» (стих. «По небу быстро поднимаясь...») — известная аналогия концу дермонтовского «Паруса». Картины осени и зимы приводят к мысли о смене умирания и обновления не только в природе, но и в жизни человека. Сила Случев-

ского, как лирика природы, именно в том, что он не настаивает на этих сопоставлениях, которые, будь они точно и логически сформулированы, пожалуй, ничем не выделялись бы, что он дает читателю некоторую свободу осмысления. И с этой точки зрения он — несомненный предшественник символистов (в гораздо большей степени, чем Фет).

Стихам Случевского о природе в большинстве случаев присущ известный философский оттенок. Поэту важны не только те чувства личного порядка, те переживания, какие могут быть вызваны окружающей его природой, но и те размышления, на которые она наталкивает. Пусть эти размышления несколько однообразны (тема их — превратности человеческой судьбы, то противопоставляемые неизменности природы, то приравниваемые к различным изменениям в ее жизни), — существенно то, что в свои пейзажи поэт стремится внести обобщающий смысл, придать им углубленное значение — черта, тоже роднящая его с символистами.

Язык в стихах Случевского о природе, так же как и в других жанрах его поэзии, отмечен простотою, почти фамильярностью тона. Он и здесь пользуется чисто разговорными оборотами, благодаря которым конкретизируется, становится более непосредственным, так сказать, очеловечивается образ автора, живого созерцателя

природы. И нередко богатая и сложная метафора, которая в ином сочетании могла бы стать принадлежностью торжественного и приподнятого стиля, здесь, благодаря простым разговорным словам, находящимся по соседству, не нарушает общего тона и даже приобретает вполне реалистический характер. Традиции философской лирики и поэзии природы, идущие от Баратынского и Тютчева и обогащенные примером Фета и Полонского, сочетаются у него в области языка с некрасовскими чертами.

В творчестве Случевского большое место занимают, составляя целый отдел в собрании его стихов, полуописательные, полупоэтические стихотворения — «баллады, фантазии, сказы», как он озаглавливает их. «Баллады» Случевского очень своеобразны. Историю (равно как и легендарный материал) он не идеализирует. Единственный исторический герой, пользующийся полной его симпатией, — Петр I. Но независимо от симпатии поэта, исторические и легендарные сюжеты и мотивы, которыми он пользуется, окрашены в мрачные тона; в большинстве своем они трагичны.

Неприятие современности соединяется у Случевского с широким интересом к истории, к разнообразным ее эпохам, с эстетическим любованием декоративными деталями прошлого — и с представлением о ней как о роковой цепи жестокостей и несправедливостей.

В вещах исторического жанра у него тоже дают себя знать прозаические тенденции, разговорно-бытовые элементы языка, и в результате исторический мотив нередко получает несколько сниженную окраску.

В стихотворении Случевского «Коллежские ассессоры» (помещенном, правда, не в отделе «баллад и сказов», а в «Стихотворениях на разные случаи») сопоставлены: грузинские древности, Прометей, Ноев ковчег, с одной стороны, и могилы русских коллежских ассессоров на кавказском кладбище — с другой. Грань между героическим прошлым, с его мифами, с его памятниками, и современной поэту жизнью — стерта. В последней строфе дается такое перечисление:

Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей, и указ, и Колхида,
И коллежский ассессор, и Ной...

Фамильно-прозаическими элементами речи, которыми Случевский избегает пользоваться в балладах на сюжеты из древнего мира, он широко пользуется в стихах на темы русской истории и русского фольклора, с их помощью придавая содержанию юмористический или гротескный оттенок. Это мы видим, например, в сказе «О чудодейном коне», где народный сюжет использован сатирически.

В поэзии Случевского представлены многочисленные жанры. Стихотворения свои он, группируя их для двух изданий, оба раза располагал по тематическим и жанровым циклам. В. С. Соловьев в отзыве об издании 1880—1890-х годов (в «Космополисе», 1897, т. VI) указывал на случайность, на несистематичность расположения материала, на неопределенность и зыбкость классификации. По его мнению, «каждая из рубрик... годилась бы для всех стихотворений». Для 2-го издания (1898 г.) Случевский, сохранив в основном те же названия отделов-циклов, перераспределил весь материал, многие вещи переместив из одних отделов в другие. В результате этой перегруппировки была достигнута гораздо большая степень систематичности. В настоящем издании избранных стихотворений Случевского сохраняются и циклизация второго (последнего) его собрания стихов и последовательность материала в пределах циклов. Тематической и жанровой циклизации своих стихов поэт явно придавал принципиальное значение. При всей разнице расположения стихов в первом и втором изданиях характерен один общий и для того и для другого признак — отсутствие хронологического принципа. Если в самых первых своих печатных выступлениях — в «Общезанимательном вестнике» — Случевский точно датировал каждое стихотворение, даже переводное, то в даль-

нейшем — и уже очень скоро — он отказался и от датировки, и от хронологии вообще. Компануя в последней редакции (т. е. в изд. 1898 г.) цикл «Из дневника одностороннего человека», он поместил в него стихи, печатавшиеся раньше (и очень давно) в журналах или находившиеся в разных других отделах первого издания на правах самостоятельных вещей, а целый ряд стихотворений, раньше входивших в него, перенес в другие отделы.

Свою поэзию Случевский, видимо, хотел представить как нечто хронологически единое, и это ему удавалось. Окончательное расположение материала таково, что эволюция незаметна. Стихотворения, фактически относящиеся к очень разным периодам и помещаемые рядом, не производят впечатления разнобоя. Это, конечно, обусловлено тем, что его поэтическое творчество на всем его протяжении отличается большой цельностью манеры.

Этому не противоречит тот факт, что отдельные свои стихотворения поэт сильно перерабатывал, что некоторые из них существуют в двух-трех (печатных) редакциях. Переработка шла нередко по линии сглаживания шероховатостей, рискованных в стилистическом и смысловом отношении мест. Случевский безусловно учитывал насмешки критики и старался предотвратить дальнейшие нападки, производя замены, кое-что вовсе опускаая. Но иногда, напо-

тив, переработка давала обратный результат, и место, стилистически более или менее нейтральное, заменялось более выразительным, но также и более необычным и подчас более угловатым. Впрочем, последнее происходило, в общем, реже: ранний Случевский был смелее в выборе и построении образов, чем Случевский более поздних лет, но зато в сторону большей смелости и резкости эволюционировала у него техника прозаизма, умение сочетать его с обычным поэтическим словарем.

В силу этого своеобразия эволюции некоторые ранние стихи Случевского, стихи 60—70-х годов, оказываются ближе к поэзии символизма (и даже футуризма, как, например, «Ходит ветер избочась»), чем всцѣи более поздние, стихотворения же, печатавшиеся в символистическом альманахе «Северные цветы», ближе к массовой лирике 80—90-х годов, чем к произведениям других участников того же альманаха.

В поэзии Случевского совмещалось очень многое. Это и позволило ей занять такое видное место в русской литературе на рубеже двух веков, обусловило ее успех у представителей очень различных литературных направлений — у символистов и декадентов, с одной стороны, и у консервативных деятелей — с другой. Литературно-бытовое окружение Случевского на склоне его лет отличалось огромной пестротой. На его «пятницы» (литературные вечера, которые он у себя

устраивал, следуя обычаю, заведенному Полонским), собирались гости, принадлежавшие к разным поколениям и придерживавшиеся самых разных взглядов в области литературы. Из символистов здесь бывали: Брюсов, Сологуб, Бальмонт.

Сам Случевский с интересом относился к русскому символизму. Так, для юбилейного пушкинского сборника «Денница» он взял у Брюсова стихотворение «Демоны пыли», но должен был вернуть его автору (как слишком будто бы смелое по ритму), видимо, под давлением соредакторов по сборнику (П. Гнедича и И. Ясинского). Что же касается интереса символистов к Случевскому (в частности — интереса к нему со стороны Брюсова, высоко ценившего поэта), то, конечно, интерес этот определялся идейно-философскими основами его поэзии и ее смысловыми принципами — смелостью и многозначностью образов, умением через частное показать общее, соединить далекие по языковой окраске элементы, искусством намеков и внезапных смысловых и стилистических переходов. Стихотворная техника Случевского, его версификации, вряд ли могла дать символистам что-либо интересное, так как он отнюдь не был новатором в этой области и вообще не стремился к особой изысканности звуковой формы своих стихов. У него — бедная рифма; размеры, которыми он пользуется, редко выходят за пределы традиционной силлабо-тонической метрики,

строфические формы у него исключительно просты и не отличаются разнообразием. Символисты шлифовали и оттачивали свой стих, а Случевский в формальном отношении как бы подчеркивал свою «небрежность»: с этой точки зрения показательны у него бесцезурные шестистопные ямбы, вклинивающиеся в цезурованные строки и несомненно затрудняющие, утяжеляющие стих, но вместе с тем приближающие его к разговорной речи.

Среди тех литературных течений, которые были представлены на «пятницах» Случевского, т. е. среди тех, для которых его поэзия была интересна и ценна, самым значительным в литературном отношении являлся символизм. Символистам в поэзии Случевского были интересны те особенности, которые в ходе развития русской литературы представляли очень важное для своего времени и типически характерное явление (ее «неблагополучие» и неуспокоенность, смелость в области поэтического языка — многое из того, что другими расценивалось как изъясн, словом — новаторство этого крайне своеобразного и далеко не достаточно оцененного поэта). Историко-литературное его значение определяется для нас именно этими особенностями, а отнюдь не теми, которые вызывали сочувствие и восхищение консервативной и реакционной критики, т. е. не традиционными признаками «красивости» и поэтичности, не религиозными и идеали-

этическими мотивами, общими у него с целым рядом поэтов-эпигонов.

Случевский — одно из основных звеньев, соединяющих поэзию XIX в. с новой русской поэзией. В этом — особенность роли Случевского и в этом же — большой интерес, который его творчество представляет и для современного читателя, имеющего возможность полнее оценить его: ведь многое из того, что в стихах Случевского поражало современников как выражение острых и, казалось, неразрешимых противоречий, — его смелые образы и смелые сочетания прозаического с поэтическим, торжественного с обыденным, — завоевало в дальнейшем все права в нашей поэзии, стало в ней широко распространенным явлением.

А. Федоров.

**РАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ,
НЕ ВОШЕДШИЕ
В ОТДЕЛЬНЫЕ КНИГИ**

В МОРОЗ

Под окошком я стою,
И под нос себе пою,
И в окошко я гляжу,
И от холода дрожу.

В длинной комнате светло.
В длинной комнате тепло.
Точно сдуру на балу
Тени скачут по стеклу.

Под окошьями сидят,
Да в окошко не глядят,
Знать на улице в окно
И глядеть-то холодно.

У дверей жандарм стоит,
Звонкой саблею стучит,
Экипажи стали в ряд,
Фонари на них горят.

А на небе-то черно,
А на улице темно.
И мороз кругом трещит...
Был и я когда-то сыт.

НА КЛАДБИЩЕ

Я лежу себе на гробовой плите,
Я смотрю, как ходит тучи в высоте,
Как под ними быстро ласточки летят
И на солнце ярко крыльями блестят.
Я смотрю, как в ясном небе надо мной
Обнимается зеленый клен с сосной,
Как рисуется по дымке облаков
Подвижной узор причудливых листов.
Я смотрю, как тени длинные растут,
Как по небу тихо сумерки плывут,
Как летают, лбами стучаясь, жуки,
Расставляют в листьях сети пауки...

Слышу я, как под могильною плитой
Кто-то ежится, ворочает землей;
Слышу я, как камень точат и скребут
И меня чуть слышным голосом зовут:
«Слушай, милый, я давно устал лежать!
Дай мне воздухом весенним подышать,
Дай мне, милый мой, на белый свет
взглянуть
Дай расправить мне придавленную грудь.
В царстве мертвых только тишь да
темнота
Корви цепкие, да гниль, да мокрота;

Очи впавшие засыпаны песком,
Череп голый мой источен червяком.
Надоела мне безмолвная родня:
Ты не ляжешь ли, голубчик, за меня?»

Я молчал и только слушал: под плитой
Долго стучал костяною головой,
Долго корни грыз и землю скреб мертвец,
Копошился и притихнул наконец.
Я лежал себе на гробовой плите,
Я смотрел, как мчались тучи в высоте,
Как румяный день на небе догорал,
Как на небо бледный месяц выплывал,
Как летали, лбами стучаясь, жуки,
Как на травы выползали светляки...

Ходит ветер избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой.

Бьется весело в гранит,
Вихри завивает
И, метелицей гудя,
Плачет да рыдает.

Под мостами свищет он
И несет с разбега
Белогрудые холмы
Молодого снега.

Под дровнишки мужика
Все ухабы сует,
Кляче в старые бека
Безотвязно дует.

Он за валом крепостным
Воет жалким боем
На соборные часы
С их печальным боем.

Много близких голосов
Слышно в песнях ваших,

Сказок муромских лесов,
Песен дедов наших!

Ходит ветер избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой.

МОИ ЖЕЛАНЬЯ

Что за вопросы такие? Открыть тебе
мысли и чувства!
Мысли мои незаконны, желания странны
и дики,
А в разговорах пустых только без толку
жизнь выдыхаешь.
Право, пора дорожить и собой и своим
убежденьем, —
Ум прошутить, оборвать, перемять свои
чувства нетрудно.
Мало ли как я мечтаю, и многого в жизни
хочу я...

Прежде всего мне для счастья сыскать
себе женщину надо.
Женщина вся в нежном сердце и
в мягкости линий,
Женщина вся в чистоте, в непорочности
чувства;
Мне не философа, мне не красавицу пужно;
мне нужны
Ясные очи, коса до колен и подчас поцелун.
С такой женщиной труд будет легче
и радость полнее.

Я бы хотел отыскать себе близких по цели
и сердцу,
Честных людей, прозревающих жизнь
светлым оком рассудка,
С ними сходясь, в откровенных беседах
часы коротая,
Мог бы я силы свои упражнять, проверять
свои мысли.
Словом живым заменил бы я мертвые речи
печати.
Голос из книги — не то, что живой,
вызывающий голос.

Я бы хотел, взявши в руки свой посох,
спокойно пуститься
Тем же путем, по которому шло
человечество в жизни.
С Желтой реки до священных лесов
светлоструйного Ганга,
С жарких пустынь, где в конических
надписях камни пестреют,
Шел бы я рядом развалин столиц азиатских
народов;
Снес свой поклон пирамидам и гордо-
задумчивым сфинксам.
В рощах Эллады, на мраморных плитах
колонн Парфенона,
Мог бы я сесть отдохнуть, подошедши
к Эгейскому морю,
Прежде чем следовать берегом моря
за ходом народов,
Прежде чем сжиться с историей Рима
и с жизнью Европы.

Я бы хотел, обратившись на время
в печатную книгу,
В книгу хорошую, полную силы и смысла
живого,
Слиться с народом, себя позабыв, утонуть
в нем, стереться,
Слушать удары тяжелого пульса
общественной жизни,
Видеть во всей наготе убеждения каст
и сословий;
Выведать нужды одних, утешать их во имя
движенья,
.
Стать на виду у других

Я бы хотел, проходя по широкой,
бушующей жизни,
Сердцем ответить на все, пережить все,
что можно на свете,
Всем насладиться душою, и злом и добром
человека,
Светлым твореньем искусства, и даже
самим преступленьем,
Ежели только оно не противно той истине
светлой,
Смыслу которой законы и люди так часто
враждебны.

Я бы хотел, умирая, весь скарб своих сил
и познаний,
Весь передать существу молодому, богатому
жизнью,

ОН НЕ ЛЮБИЛ ЕЩЕ

Он не любил еще. В надежде благодати
Он шел по жизни не спеша,
И в нем дремала сладким сном дитяти
Невозмущенная душа.

Еще пока никто своим нескромным оком
Его мечты не подстерег,
Еще он сам в служении высоком
Своей лампы не зажег.

И как зато хорош, и как далек сомненья
Его неведенья покой!
Он жаждет слов, он чутко ждет движенья
И блещет жизнью молодой.

Он не знаком страстям... Так статуя
Мемнона,
Молчанье строгое храня,
Сидит, чернея в звездах небосклона,
И жадно ждет прихода дня.

Обильная роса холодной ночи юга
Живою свежестью кропит,
С заботой нежною ласкающего друга,
Спокойно стынуций гранит.

Но только первый луч падет ему на плечи.
Дымясь зажжется степь вокруг, —
Немой Мемнон, на ласку светлой встречи,
Издаст живой и полный звук.

Ночь. Темно. Глаза открыты,
И не видят, но глядят;
Слышу, жаркие ланиты
Тонким бархатом скользят.

Мягкий волос, набегаая,
На лице моем лежит,
Грудь тревожная, пагая,
У груди моей дрожит.

Недошептанные речи,
Замиранье жадных рук,
Холодеющие плечи...
И часов тяжелый стук.

**СТИХОТВОРЕНИЯ,
ВОШЕДШИЕ
В ИЗДАНИЕ 1898 года**

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ

Есть в земном творении облики незримые,
Глазу незаметные, чудеса творящие,
Страшно ненавистные, горячо любимые,
Целый мир обманчивый в этот мир
вносящие.

В жизни человеческой, в важные мгновения,
Облики незримые вдруг обозначаются,
В обаянье подвига, в злобе преступления
Нежданно, негаданно духом прозреваются.

С ними все незримое видимым становится,
В гробовом молчании разговоры слышатся,
Что-то небывалое в жизнь вступить
готовится,
Все основы мыслей, как тростник,
колышатся...

Человек решается... и в его решении
Мир несуществующий в обликах
присутствует,
Он зовет на подвиги, тянет к преступлению
И совсем по-своему вразумив — напутствует.

НАС ДВОЕ

Никогда, нигде один я не хожу,
Двое нас живут между людей:
Первый — это я, каким я стал на вид,
А другой — то я мечты моей.

И один из нас вполне законный сын;
Без отца, без матери — другой;
Вечный спор у них и ссоры без конца;
Сон придет — во сне все тот же бой.

Потому-то вот, что двое нас, — нельзя,
Мы не можем хорошо прожить:
Чуть один из нас устроится — другой
Рад в чем может только б досадить!

Да, я устал, устал, и сердце стеснено!
О, если б кончить как-нибудь скорее!
Актер, актер... Как глупо, как смешно!
И что ни день, то хуже и смешнее!
И так меня мучительно гнетут
И мыслей чад, и жажда снов прошедших,
И одиночество... Спроси у сумасшедших,
Спроси у них — они меня поймут!

За то, что вы всегда от колыбели лгали,
А, может быть, и не могли не лгать;
За то, что, торопясь, от бедной жизни
брали
Скорей и более, чем жизнь могла вам дать.

За то, что с детских лет в вас жажда
идеала
Не в меру чувственной и грубою была,
За то, что вас печаль порой не освежала,
Путем раздумия и часу не вела;

Что вы не плакали, что вы не сомневались
Что святостью труда и бодростью его
На новые труды итти не подвизались, —
Обманутая жизнь — не даст вам ничего!

ФОРМЫ И ПРОФИЛИ

Как много очерков в природе? Сколько их?
От темных недр земли до края небосклона,
От дней гранитов и осадков меловых
До мысли Дарвина и до его закона!

Как много профилей проходит в облаках,
В живой игре теней и всяких освещений,
Каких нет очерков в моллюсках и цветах,
В облициях людей, народов, поколений?

А сказки снов людских? А грезы всяких
свойств?
Болезней и смертей? А бред галлюцината?
Виденья мрачные психических расстройств, —
Все братья младше в груди большого
брата!

А в творчестве людском? О, нет! Не
оглянуть
Всех типов созданных и тех, что нарождаются;
Людское творчество — как в небе млечный
путь:
В нем новые миры без устали рождаются!

Мары особые в одном большом миру!
А все прошедшее, все, что ушло в былое...

Да, бесконечности одной не понудру
Скоплять все мертвое и сохранять живое.

Ей, бесконечности, одной не совладать
С великой дробностью такого содержания,
Когда бы в помощь ей бессмертья
не придать
И неустанного, тупого ожидания.

Но что мудренее всего, так это — то,
Что ни в одной из форм нет столько
хлебосољства,
Чтоб в ней сказались свобода, мир,
довольство! ..
И счастья полного не обретал никто!

LUX AETERNA

Когда свет месяца бесстрастно озаряет
Заснувший ночью мир и все, что в нем
живет,

Порою кажется, что свет тот проникает
К нам, в отошедший мир, как под
могильный свод.

И мнится при луне, что мир наш — мир
загробный,

Что где-то до того когда-то жили мы,
Что мы — не мы, послед других существ,
подобный

Кильцам безвыходной таинственной тюрьмы.

И мы снуем по ней какими-то тенями,
Чужды грядущему и прошлое забыв,
В дремоте тягостной, охваченные снами,
Не жизнь — но право жить — как будто
сохранив...

ЗАРЯ ВО ВСЮ НОЧЬ

Да, ночью летнею, когда заря с зарею
Соприкасаются, сойдясь одна с другою,
С особой ясностью на памяти моей
Встает прошедшее давно прожитых дней...
Обычный ход от детства в возмужалость;
Ненужный груз другим и ничего себе;
Жизнь силы и надежд, сведенная на шалость
В самодовольной и тупой борьбе;
Громадность замыслов какой-то новой
славы, —

Игра лучей в граненых хрусталях;
Успехов ранних острые отбасы,
И смелость бурная, и непонятный страх...

Бой с призраками кончен. Жизнь полна.
В ней было все: ошибки и паденья,
И чад страстей, и обаянье сна,
И слезы горькие больного вдохновенья,
И жертвы, жертвы... На мстилах их
Смириться разве? — но смириться больно.
И жалко мне себя, и жалко сил былых...
Не бросить ли все, все, сказав всему:
довольно!

И, успокоившись, по торному пути,
Склонивши голову, почтительно пройти?

А там? — А там смотреть с умением
знатока,
Смотреть художником на верность
исполнения,
Как истязаются, как гибнут поколения, —
Как жить им хочется, как бедным смерть
тяжка, —
И поощрять детей в возможности успеха
Тяжелой хрипотой надтреснутого смеха...

Я задумался и — одиноко остался;
Полюбил и — жизнь великой степью стала;
Дружбу я узнал и — пламя степь спалило;
Плакал я и — василиски нарождались.

Стал молиться я — пошли по степи тени;
Стал надеяться и — свет небес погаснул;
Проклял я — застыло сердце в страхе;
Я заснул — но не нашел во сне покоя...

Усомнился я — заря зажглась на небе,
Звучный ключ пробился где-то животворный,
И по степи, неподвижной и алкавшей,
Поросль новая в цветах зазеленела...

Где только крик какой раздастся иль
стенанье —
Не все ли то равно: родной или чужой —
Туда влечет меня неясное призванье
Быть утешителем, товарищем, слугой!

Там ищут помощи, там нужно утешенье,
На пиршестве тоски, на шабаше скорбей,
Там страждет человек, один во всем
творенье,
Крушась сознательно в волнении зыбей!

Он делает круги в струях водоворота,
Бессильный выбраться из бездны роковой,
Без права на столбняк, на глупость идиота
И без виновности своей или чужой!

Ему дан ум на то, чтоб понимать крушенье.
Чтоб обобщать умом печали всех людей
И чтоб иметь свое, особенное мнение,
При виде гибели, чужой или своей!

Скажите дереву: ты перестань расти,
Не оживай к весне листьями молодыми,
Алмазами росы на солнце не блисти
И птиц не осеняй с их песнями живыми;

Ты не пускай в земле питательных корней,
Их нежной белизне не спорить с вечной
Тьмою. . .

Взгляни на кладбище кругом гниющих пней.
На сушь валежника с умершею листвою.

Все это, были дни, возрастало, как и ты,
Стремилось в пышный цвет и зрелый плод
Давало,

Ютило песни птиц, глядело на цветы,
И было счастливо, и счастья ожидало.

Умри! Не стоит жить! Подумай и завянь!
Но дерево растет, призванье совершая;
Зачем же людям, нам дано нарушить грань
И жизнь свою прервать, цветенья не желая?

Женщина и дети

Будто месяц с шатра голубого,
Ты мне в душу глядишь, как в ручей...
Он струится, журча бестолково
В чистом золоте горних лучей.

Искры блестят, что риза живая...
Как был темен и мрачен родник --
Как зажегся ручей, отражая
Твой живой, твой трепещущий лик!..

О, если б мне хоть только отраженье,
Хоть слабый свет твоих чудесных снов,
Мне засветило б в сердце вдохновенье,
Взошла заря над теменью годов!

В струях отзвучий ярких песнопений,
В живой любви с тобой объединен,
Как мысль, как дух, как бестелесный гений,
От жизни взят — я перешел бы в сон!

Ты нежней голубки белокрылой,
Ты — рубин блестящий, огневой!
Бедный дух мой, столько лет унылый,
Краской жизни рдеет пред тобой.

В тихом свете кроткого сиянья
Давних дней в прозрачной глубине
Возникают снова очертанья
Прежних чувств, роившихся во мне.

Можно ль верить — верить ум не смеет! —
Будто этот наших чувств расцвет, —
Будет день, — пройдет и побледнеет,
Погрузившись в мертвый холод лет...

Ты сидела со мной у окна.
Все дома в темноте потонули.
Вдруг глядим: заалела стена,
Искры света по окнам мелькнули.

Видим: факелы тащат, гербы,
Ордена на подушках с кистями.
В мрачных ризах шагают поны
И чернеют в огнях клубуками;

Дроги, гроб! И от гроба в огне
Будто зарево нас освещало...
Ты так быстро склонилась ко мне,
Жить желая во что бы ни стало!

Мне ее подарили во сне:
Я проснулся — и нет ее! Взяли! ..
Слышу: ходят часы на стене. —
Встал и я, потому что все встали.

И брожу я весь день, как шальной.
И где вижу, что люди смеются, —
Мнится мне: это смех надо мной,
Потому что нельзя мне проснуться!

НЕВЕСТА

В пыльном гробе меня разукрасили, —
А уж я ли красой не цвела?
Восковыми свечами обставили, —
Я и так бесконечно светла!

Медью темной глаза придавили мне —
Чтобы глянуть они не могли;
Чтобы сердце во мне не забилося, —
Образочком его нагнели!

Чтоб случайно чего не сказала я, —
Краткий срок положили — три дня!
И цветами могилу засыпали,
И цветы придушили меня...

Я ласкаю тебя, как ласкается бор
Шумной бурей, в темень одетой!
Налетает она, покидая простор,
На устах своих с песней запетой.

Песня бури сильна! Чуть в листву залетит -
Жизнь лесную до недр потрясает,
Рвет умершую ветвь, блеклый лист не щадит.
Все отжившее наземь кидает...

И ты бурю за песню ее не кори,
Нет в ней злобы, любви к разрушенью:
Очищает прогалины краскам зари
И простор соловьиному пенью...

В БУРЮ

Я приехал к тебе по Леману;
И сердит, и взволнован Леман!
И оделись Савойские Альпы
В темносерый, овиццовый туман.

В небесах разыгралась буря,
Из ущелий гудят голоса;
Опалил мне лицо мое ветер,
Растрепал он мои волоса...

И гуляли могучие волны,
Я над ними веселый скользил,
И с вершин их по пенистым скатам
Глубоко, глубоко уходил.

Буря шла и в тревожном величье
Раздавить собиралась меня;
Только смерть от меня сторонилась —
Был я весел и полон огня.

И я верил, что мне не погибнуть,
Что я кончу назначенный путь,
Что я должен предстать пред тобою,
И нельзя мне, нельзя утонуть!

ИЗ ЧУЖОГО ПИСЬМА

Пишу тебе, мой добрый, славный, милый.
Мой хороший, ненаглядный мой!
Скоро ль глянет час свиданья легкокрылый.
Возвратятся счастье и покой!

Иногда, когда кругом меня все ясно,
Светлый вечер безмятежно тих,
Как бы я тебя к себе прижала страстно,
Ты, любимец светлых снов моих!

Мне хотелось бы, чтоб все, что сознаю я,
Стал звездой, с вечернею зарей
Понеслось к тебе, зажгло для поцелуя,
Так, как я зажглась теперь тобой!

Наниши ты мне, бывает ли с тобою,
Как со мной, не знаю отчего,
Я стремлюсь к тебе всей, всей моей душою,
Обнимаю я тебя всего...

Наниши скорее: я тебе нужна ли
Так, как ты мне? Но, смотри, не лги!
Рвешь ли письма, чтоб другие не читали?
Рви их мельче и скорее жги.

И теперь... Но ист, мой зов совсем напрасен
Сердце бьется, а в глазах темно...
Вижу, почерк мой становится неясен...
Завтра утром допишу письмо...

ПРИДИ!

Дети спят. Замолкнул город шумный,
И лежит кругом по саду мгла.
О, теперь я счастлив, как безумный,
Тело бодро и душа светла.

Торопись, голубка! Ты теряешь
Час за часом! Звезд не сосчитать!
Демон сам с Тамарою, ты знаешь,
В ночь такую думал добрым стать...

Спит залив, каким-то духом скован,
Ветра нет, в траве роса лежит;
Полный месяц, словно очарован,
Высоко и радостно дрожит

В хрустале полуночного света
Сводом темным дремлет сад густой;
Мысль легка, и сердце ждет ответа!
Ты молчишь? Скажи мне, что с тобой?

Мы прочтем с тобой о Паризине,
Песней Гейне очаруем слух...
Верь, клянусь, я твой навек отныне;
Клятву дал я, и не дать мне двух.

Не бледней! Послушай, ты теряешь
Час за часом! Звезд не сосчитать!
Демон сам с Тамарою, ты знаешь,
В ночь такую думал добрым стать...

В костюме светлом Коломбины
Лежала мертвая она.
Прикрыта вскользь, до половины,
Тяжелой завесью окна
И маска на сторону сбилась;
Полуоткрыт поблекший рот...
Чего тем ртом не говорилось?
Теперь он в первый раз не лжет!

В красоте своей долго старея,
Ты чаруешь людей до сих пор!
Хороши твои плечи и шея,
Увлечателен, быстр разговор.

Бездна вкуса в богатой одежде;
В обращении изящно-вольна!
Чем же быть ты должна была прежде,
Если ты и теперь так пышна?

В силу хроник, давно уж открытых,
Ты ходячий, живой мавзолей
Ряда целого слуг именитых,
Разорившихся в службе твоей!

И гляжу на тебя с уваженьем:
Ты финансовой силой была,
Капиталы снабдила движеньем
И, как воск, на огне извела!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА

Ты засни, засни, моя милая,
Дай, подушечку покачаю я,
И головушку поддержу твою
И тебя, дитя, убаюкаю.

Тихий детский сон, ты приходи, сойди.
Наклонися к ней, не давя груди,
Не целуй до слез, не пугай дитя, —
Учи ласкою, вразумляй шутя.

Жизнь учить начнет, против воли гнет,
Вразумит тогда, как всего сомнет.
Зацелует в смерть, заласкает в бред
И, позвав цвести, не допустит в цвет...

Ночь темна, молчит, смотрит букою!
Хорошо ли я так баюкаю?
Сон снасительный, сон голубчик мой,
Поскорей отца от дитяти скрой!..

Лирические

Дай мне минувших годов увлечения,
Дай мне надежд зоревые огни,
Дай моей юности светлого тенья,
Дай мне былые мятежные дни.

Дай мне опять ошибаться дорогами
Видеть их страхи вдали пред собой,
Дай мне надежд невозможных чертогами
Скрашивать жизни обыденный строй:

Дай мне восторгов любви с их обманами,
Дай мне безумья желаний живых,
Дай мне потаснувших снов с их туманами
Дум животворных и грез золотых;

Дай — и возьми всю уверенность знания,
Всю эту ношу убитых страстей,
Эту обдуманность слов и деяния
В черном теченье и в знанье людей.

Все ты возьми, в чем не знаю сомнения,
В правде моей — разуверь, обмани, —
Дай мне минувших годов увлечения,
Дай мне былые, мятежные дни!..

О не брани за то, что я беспцельно жил,
Ошибки юности не все за мною числи,
За то, что сердцем я мешать уму любил,
А сердцу жить мешал суровой правдой мысли.

За то, что сам я, сам нередко разрушал
Те очаги любви, что в холод согревали,
Что сфинксов правды я, безумец, вопрошал,
Считал ответами, когда они молчали.

За то, что я блуждал по храмам всех богов
И сам осмеивал былые поклоненья,
Что, думав облегчить тяжелый гнет оков,
И часто новые приковывал к ним звенья.

О не брани за то, что поздно сознаю
Всю правду лживости былых очарований
И что, на склоне дней, спокойный я стою
На тихом кладбище надежд и начинаний.

И все-таки я прав, тысячекратно прав!
Природа — за меня, она — мое прощенье;
И гад, как лжет она, и жизнь и смерть
признав,
Бессильна примирить любовь и озлобленье.

Да, я глубоко прав, — так как права волна,
И камень и себя о камень разрушая:
Все — подневольные, все — в трезых полусна,
Судеб неведомых веденья свершая.

БАНДУРИСТ

На Украине жил когда-то,
Телом бодр и сердцем чист.
Жил старик, слепец маститый,
Седовласый бандурист.

В черной шапке, в серой свитке
И с бандурой на ремне,
Много лет ходил он в людях
По родимой стороне.

Жемчуг — слово, чудо — песни
Сыпал вещей с языка.
Были струны на бандуре
Под рукою старика.

Много он улыбок ясных,
Много вызвать слез умел,
И, что птица божья, песни
Где приселось — там и пел.

Он на песню душу отдал,
Песней тело прокормил;
Родился он безмянным.
Безмянным опочил...

Мертв казак! Но песни живы;
Все их знают, все поют!
Их знакомые созвучья
Сами так вот к сердцу льнут!

К темной ночи засыпая,
Дети, будущий народ,
Слышат, как он издалека
В песне матери поет...

РАЗБИТАЯ ШКУНА

Т ак далеко от колыбели
И от родимых берегов
Лежит она, как на постели,
В скалах, пугая рыбаков.

Чужие вихри обвевают,
Чужие волны песнь поют.
В морскую зелень одевают
И в грудь надломленную льют.

И на корме ее размытой,
Как глаз открытый, неживой,
Глядит с доски полуразбитой
Каких-то букв неполный строй...

Да, если ты, людей творенье,
Подобно людям прожила, —
Тебя на жертву, на крушенье,
На злую смерть любовь всла.

Твой кормчий сам, своей рукою
Тебя на гибель вел вперед:
Один, безмолвный, над кормою
Всю ночь сидел он напролет...

Забыв о румбах и компасе,
Гуля не слыша под рукой,
Он о далёком думал часе.
Когда судьба вернет домой!

Вперив глаза на звезды ночи,
За шумом дум не слыша струй,
Он на любовь держал, на очи,
На милый лик, на поцелуй...

В немолчном говоре природы,
Среди лугов, полей, лесов,
Есть звуки рабства и свободы
В великом хоре голосов...

Коронки всех Иван-да-Марий,
Вероник, кашек и гвоздик
Идут в стога, в большой гербарий,
Утратив каждая свой лик!

Нередко видны на покосах,
Вблизи усталых косарей —
Сидят на граблях и на косах
Певцы воздушные полей.

Поют о чудных грезах мая,
О счастье, о любви живой.
Поют, совсем не замечая
Орудий смерти под собой!

КАРИАТИДЫ

Между окон высокого дома,
С выраженьем тоски и обиды,
Стерегут парчевые хоромы
Ожерельем кругом карьятиды.
Напряглись их могучие руки,
К ним на плечи оперлись колонны;
В лицах их — выражение муки,
В грудях их — поглощенные стоны.
Но не гнутся те крепкие груди.
Карьятиды позор свой выносят;
И — людьми сотворенные люди —
Никого ни о чем не попросят...
Идут годы — тяжелые годы,
Та же тяжесть им давит на плечи;
Но не шлют они дерзкие речи
И не вторят речам непогоды.
Пропечет ли жар солнца их кости,
Проберет ли их осень ветрами,
Иль мороз назовется к ним в гости
И посыплет их плечи снегами,
Одинаково твердо и смело
Карьятиды позор свой выносят
И — вступиться за правое дело
Никого никогда не попросят...

МИФ

И летит, и клубится холодный туман.
Проскользая меж сосен и скал;
И встревоженный лес, как великий орган,
На скрипящих корнях заиграл...

Отвечает гора голосам облаков,
Каждый камень становится жив...
Неподвижен один только — старец веков
В той горе схоронившийся Миф.

Он в кольчуге сидит, волосами оброс,
Он от солнца в ту пору бежал —
И желает, и ждет, чтобы прежний хаос
На земле, как бывало, настал...

По небу быстро поднимаясь,
Навстречу мчась одна к другой.
Две тучи, медленно свиваясь,
Готовы ринуться на бой!

Темны, как участь близкой брани,
Небесных ратников иолки,
Подъяты по ветру их длани
И режут воздух шишаки!

Сквозят их мрачные забрала
От блеска пламенных очей...
Как будто в небе места мало
И разойтись в нем нет путей?

КАМАРИНСКАЯ

Из домов умалишенных, из больниц
Выходили души опочивших лиц;
Были веселы, покончивши страдать.
Шли, как будто бы готовились плясать.

Ручку в ручку дай, а плечико к плечу...
«Не вернуться ли нам жить?» — «Ой, не хочу!
Из покойничков в живые нам не лезть, —
Знаем, видим — лучше смерть, как ни на есть!»

А! Одно же сердце у людей, одно!
Истомилось, измаялось оно;
Столько горя, нужды, столько лжи кругом.
Что гуляет зло по свету ходенем.

Дай копеечку, кто может, беднякам,
Дай копеечку и нищим духом нам!
Горькнитесь! Будет поздно торопить.
Сами станете копеечки просить...

Из домов умалишенных, из больниц
Выходили души опочивших лиц;
Были веселы, покончивши страдать.
Шли, как будто бы готовились плясать...

ПРО СТАРЫЕ ГОДЫ

Не смейся над песнею старой
С палевом ее немудревым,
Служившей заветною чарой
Отцам нашим. нежно влюбленным!

Не смейся стихам мадригалов.
Топорщенью фижм и манжетов.
Вихрам боевых генералов,
Качавшимся в лад менуэтов!

Над смыслом альбомов старицных.
С пучками волос неизвестных,
С собранием шалостей чинных,
Забавных, но, в сущности, честных.

Не смейся! Те вещи служили,
Томили людей, подстрекали:
Отцы наши жили, любили,
И матери нас воспитали!

С мою чисто русской жадой
Из кубка греческой резьбы
Пью каждым чувством, мыслью каждой,
За вас, сошедшие в гробы!

Вам счета нет! Лишь бы охоты
На поминаньях ваших пить!
На то есть целых три субботы,
Чтоб никого не позабыть.

Увы! Особенного тоста
Потомок нам не поднесет!
Но в этот тост, и это просто,
Мы все проникнем в общий счет!

Явившись против ожидания,
На зов воспрянувши из тьмы,
Мы скажем: «Братцы, до свиданья!
Вы так же сгинете, как мы!»

Когда обширная семья
Мужает и растет,
Как грустно мне, что знаю я
То, что их бедных ждет.
Соблазна много, путь далек!
И, если час придет,
Судьба их родственный кружок
Опять здесь соберет!
То будет ломаный народ
Борцов-полукалек,
Тех, что собой завалят вход
В двадцатый, в лучший век...
Сквозь гробы их из вечной тьмы
Потянутся на свет
Иные, лучшие, чем мы,
Борцы грядущих лет.
И первым добрым делом их,
Когда они придут,
То будет, что отцов своих
Они не проклянут.

Нет, жалко бросить мне на сцену
Творенья чувств и дум моих,
Чтобы заимствовать им цену
От сил случайных и чужих, —
Чтобы умению актера
Их воплощенье поручать.
Чтоб в лжи кулис, в обмане взора
Им в маске правды проступать;
Чтоб с завершеньем представленья.
Их трепет тайный, их стремленья —
Как только опустеет зал.
Мрак непроглядный обуял.

И не в столбцах повествованья
Больших романов, повестей
Желал бы я существованья
Птенцам фантазии моей;
Я не хочу, чтоб благосклонный
Читатель в длинном ряде строк
С трудом лишь насладиться мог,
И чтобы в веренице темной
Страниц бесчисленных лишь порой
Ронял он с глаз слезу живую,
Нерукотворную, святую,
Над скрытой где-нибудь строкой,
И чтоб ему, при новом чтеньи,

Строки заветной не сыскать...
Нет обаянья в повтореньи,
И слез нельзя перечитать!

Но я желал бы всей душою
В стихе таинственно-живом
Жить заодно с моей страной
Сердечной песни бытием!
Песнь, — ткань чудесная мгновенья,
Всегда ответит на призыв;
Она — сердечного движенья
Увековеченный порыв;
Она не лжет! Для милых песен
Великий божий мир не тесен;
Им книг не надо, чтобы жить;
Возникшей песни не убить;
Ей сроков нет; ей нет предела.
И если песнь прошла в народ,
И песню молодость запела, —
Такая песня не умрет!

Мгновения

КУКЛА

Куклу бросил ребенок. Кукла быстро
свалилась,
Стукнулась глухо о землю и навзничь
упала...
Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала
Скорбной фигурой своей, так покорно
сломилась.
Руки раскинула, ясные очи закрыла...
На человека ты, кукла, вполне походила!

Каждую весною, в тот же самый час,
Солнце к нам в окошко смотрит
в первый раз.

Будет, будет время: солнце вновь придет,—
Нас здесь не увидит, а других найдет...

И с терпеньем ровным будет им светить
Помогая чахнуть и ничем не быть...

Последние из трез, и те теперь разбились!
Чему судьба, тому — конечно, быть...
Они так долго, бережно хранились,
И им, бедняжкам, так хотелось жить...
Но карточный игрок — когда его затравят —
По воле собственной сжигая корабли,
Спокойней прежнего, почти веселый, ставит
Свои последние, заветные рубли!

Очи впавшие, рот запекшийся,
Бледность смертная, тишь могильная!
Вняли очи, утомившись на обман глядеть,
Рот запекся — не сказавши все, что мог
сказать!
Бледность — чтобы легче было людям
покраснеть,
Тишь могилы — чтоб живому слову не
мешать!..

Градины выпали! Счета им нет...
Подле них вишен обившийся цвет...
В царственном шествии ранней весны,
В чаяньи смерти смертельно бледны,
Бледные жертвы и их палачи
Гибнут, белея, в безлунной ночи...

Черноземная полоса

Полдневный час. Жара гнетет дыханье;
Глядишь прищурясь — блеск глаза слезит,
И над землею воздух, в колебанье,
Мигает быстро, будто бы кипит;

И тени нет. Повеюду искры, блестя:
Трава слезла, до корня прожжена.
В ушах шумит, как будто слышны всплеск
Как будто где-то подле бьет волна...

Ужасный час! Везде оцепененье:
Жмет лист к ветвям нагретая верба,
Укрылся зверь, затем, что жжет движенье;
По щелям снят, приткнувшись, ястреба.

А в поле труд... Обычной чередою
Идет косьба; хлеба не будут ждать!
Но это время названо страдаю. —
Другого слова нет его назвать...

Кто испытал огонь такого неба,
Тот без труда раз навсегда поймет,
Зачем игру и шутку с крошкой хлеба
За тяжкий грех считает наш народ!

Горячий день. Мой конь проворно
Идет над мягкой пахотой;
Белеют брошенные зерна,
Еще не скрытые землей.

Прилежной кинуты рукою.
Как блески в пахотной ныли,
Где в одиночку, где семьёю,
Они узором полегли...

Я возвращаюсь ночью бором;
Вверху знакомый взору вид:
Что зерна звезды! Их узором
Вся глубь небесная горит...

Как красных маков, раскидало
По золотому полю жниц;
Небес лазурных покрывало
Пестрит роями черных птиц;

Стада овец ползут на скаты
Вдоль зеленеющей бакчи, —
Как бы подвижные заплаты
На ярком золоте парчи...

В поле борозды, что строфы,
А рифмует их межа,
И по ним гуляют дрофы,
Чутко слух насторожа!

Уж не оборотни ль это
Поднялись? И вдоль полей
Из курганов выполз к свету
Некий сонм богатырей!

Если так, то очень ловко
Можно дело разрешить!
Ну-ка ты, моя винтовка,
Не плошать и метко бить!

Стоит народ за молотьбою;
Гудит высокое гумно;
Как бы молочной струею
Из молотилки бьет зерно.

Как ярок день, как солнце жгуче!
А пыль работы так грузна,
Что люди ходят, будто в туче,
Среди дрожащего гумна.

Чернеет полночь. Пять пожаров!
Столбами зарева стоят!
Кругом зажиточные села
Со всеми скирдами горят!

Иль это дьявол сам пролетом
Земли коснулся пятерней,
И жгучий след прикосновенья
Пыласт в темени ночной!

И далеко пойдут по краю,
И будут в свете дня видны
В печальных лицах погорельцев
Благословенья сатаны...

По крутым по бокам вороного
Месяц блещет, во-всю озарил!
Конь! Поведай мне доброе слово!
В сказках конь с седоком говорил!

Ох, и лес-то велик и спокоен!
Ох, и ночь-то глубоко синя!
Да и я безмятежно настроен...
Конь, голубчик! Побалуй меня!

Ты скажи, что за девицей едем;
Что она, прикрываясь фатой.
Ждет... глаза проглядит... Нет! Мы бредим
И никто-то не ждет нас с тобой!

Конь не молвит мне доброго слова!
Это сказка, чтоб конь говорил!
Но зачем же бока вороного
Месяц блеском таким озарил?

Малость стемнело, девица поет,
Машет платочком, ведет хоровод;
Ходят над грудью и ленты, и бусы.
Дарин опешили! Экие трусы!
Будто впервые признали они
Этих очей зоревые огни,
Будто глядят на девицу впервые!
Спевшийся хор! Голоса золотые!
Чесню, должно быть, и в небе слышать—
Значит, и звездам, чуть глянут, плясать...

Заросилось. Месяц ходит.
Над левадою покой;
Вдоль по грядкам колобродят
Сфинксы с мертвой головой.

Вышла Груня на леваду...
Под вербою парень ждал...
Ионийскую цикаду
Им кузнечик заменял.

Балалайку парень кинул,
За плетень перемахнул
И в подсолнечниках сгинул.
В конопельке потонул...

Заросилось. Месяц ходит.
Над левадою покой...
Вдоль по грядкам колобродят
Сфинксы с мертвой головой.

Устал в полях. засну солидно.
Попаив в деревню па харчи.
В окно открытое мне видно
И сад наш, и кусок шарчи
Чудесной почи... Воздух светел...
Как тишь тиха! Засну, любя
Весь божий мир... Но крикнул петел!
Иль я отрекся от себя?

По завалинкам у хат
Люди в сумерках сидят;
Подле кони и волю
Чуть виднеются из мглы.

Сны ночные тоже тут,
Собираются. снуют
В огородах, вдоль кустов,
На крылах сычей и сов.

Вот зеленый свет луны
Тихо канул с вышины...
Что, как если с тем лучом
Сыч вдруг станет молодцом,

Глянет девушкой сова,
Скажет милые слова,
Да и хата, наконец,
Обратится во дворец?

Прекрасен вид бакчи нагорной!
Плетень, сторожка из ветвей;
Арбуз, пустивши лист узорной,
Окутал землю сетью змей.

Ползут, сплелись! Назад с неделю,
И помню, вечер наступал,
По склону, вторя коростелю,
Местами перепел стучал.

Бакча сквозь сумрак зеленела
Сквозили завязи цветов;
Теперь, откуда что приспело?
Повсюду в кружевах листов

Глядят плоды... Еще так малы,
Но всюду, всюду залегли,
Как бледножелтые опалы,
На мягких сумерках земли!

В одежде выцветшей и бурой,
В каемках яркой желтизны,
Объят ты, лес, погодой хмурой.
И блекнут все твои сыны.

На их печальные обличья,
Питном блестящим с высоты,
Льет солнце острый блеск величья
И греет мертвые листья.

Но в безнадежности природы,
Как изумруды зелены,
Заметны озимые всходы
И зелень ели и сосны.

Саван белый... Смерть -- картина...
Ум смиряющая даль...
Ты уймись, моя кручина,
Пропади, моя печаль!

В этом царстве заустенья
И великой немоты
Что же значат все мученья —
Что же значим я и ты?..

Нет ограды! Не видать часовни!
Рядом гряд могилки подняты...
Спят тут люди, все под богом ровни,
С плеч сложив тяжелые кресты.

Разоделись грядущки цветами,
Будто поле, что под нар пошло;
Вдоль борозд, намеченных гробами,
Много тени к ночи залегло...

В этот год вы, грядки, помельчали;
Помню я: вас больше было тут.
Волны смерти тихой зыбью стали.
Год еще — и вовсе пропадут.

Дождь пройдет — вершинки обмывает,
Вспашут землю, станут боронить,
Солнце выжжет, ветер заровняет...
Поле было — полю тут и быть!

Мурманские отголоски

Будто в люльке нас качает.
Ветер свеж. Ни дать, ни взять,
Море песню сочиняет —
Слов не может подобрать.

Не помочь ли? Жалко стало!
Сколько чудных голосов!
Дискантов немножко мало,
Но зато не счесть басов.

Но какое содержание,
Смысл какой словам придать?
Море — странное создание,
Может слов и не признать.

Диких волн седые орды
Тонкой мысли не поймут.
Хватят вдруг во все аккорды
И над смыслом верх возьмут.

След бури не исчез. То здесь, то там
мелькают

Остатки черные разбившихся судов
И, проносимые стремниной, ударяют
И в наше судно, вдоль его боков.

Сухой, тяжелый звук! В нем слышатся
отзывы

Следы последние погибнувших людей...
Все шепки разнесут приливы и отливы,
Опустят в недра стонущих зыбей.

Вдоль неподвижных скал стремниною несутся
Гряды подводных трав, оторванных от дна
Как змеи длинные, их нити волокутся,
И цветом их пучина зелена.

А там у берегов виднеются так ясно
Остатки корабля; расщепленное дно
До самого киля сияет яркокрасно...
У черных скал — кровавое пятно!

Здесь, в заливе, будто в сказке!
Вид закрыт во все концы;
По дуге сложились скалы
В чудодейные дворцы;

В острых очерках утесов,
Где так густ и влажен мох,
Выраженья лиц каких-то,
Вдруг застывшие врасплох.

У воды торчат, белея,
Как и скалы велики,
Груды ребр китов погибших,
Череп и позвонки.

К ним подплывная акула
От светящегося дна
Смотрит круглыми глазами,
Неподвижна и темна.

Вся в летучих отраженьях
Высоко снующих птиц —
Как живое привиденье
В этой сказке, полной лиц!

И подумаешь. бросив на край этот взоры:
Здесь, когда-то, в огнях допотопной земли,
Кто-то сыпал у моря высокие горы,
И лежат они так, как когда-то легли!

Неприветны, черны громоздятся уступы...
То какой-то до века погасший костер,
То каких-то мечтаний великие трупы,
Чей-то каменный сон, наводнивший простор!

В нем угрюмые люди — поморы толкуются,
Призываются к жизни на краткие дни...
Не дано им ни мыслью, ни чувством
проснуться!
Уж не этим ли счастливы в жизни они?

Неподвижны очертанья
Здесь скал и островов:
Это летопись страданья
Исковерканных пластов;

Эпопея или драма
Жизни каменных пород!
Небеса и море — рама,
Та же все, из года в год.

Подле них, что день, то новы,
Живы час один иль два,
Народившись без основы,
Проплывают острова.

Темных водорослей — уток,
Чаяк и гагар притон!
Словно ряд плывущих шуток,
Словно легкий фельетон...

Какие здесь всему великие размеры!
Вот хоть бы лов классической трески!
На крепкой бечеве, верст в пять иль
больше меры
Что ни аршин, навешаны крючки;

Насквозь проколота, на каждом рыбка
бьется..
Пять верст страданий! Это ль не длина?
Цорою бечева китом, белугой рвется —
Тогда страдать артель ловцов должна.

В морозный вихрь и снег, — а это ль не
напасти? —
Не день, не два, с терпеньем без границ
Артель в морской волне распутывает снасти
Сбивая лед с промерзлых рукавиц.

И завтра то же, вновь... В дому помору хуже
Тут, как и в море, вечно сир и нищ,
Живет он впроголодь, а спит во тьме и
стужа
На гнойных нарах мрачных становниц.

Взобрался я сюда по скалам;
С каким трудом на кручу взлез!
Внизу бурун терзает море,
Кругом, по кочкам, мелкий лес...

Пигмеи-сосенки! Лет двести
Любой из них, а вышиной
Едва-едва кустов повыше;
Что ни сучок — больной, кривой.

Лет двести жизни трудной, скучной —
И рост такой... Везде вокруг
Не шум от ветра — трепетанье,
Как будто робкий плач, испуг...

Но счастье есть и в них: не знают,
Не ведают, что поужней
Взрастают сосны в три обхвата
И с пышной хвоею ветвей

И что вдали, под солнцем юга,
В морскую синь с вершин Яйлы
Сквозь сетки роз и винограда
Глядят других сестер стволы...

Когда, на краткий срок, здесь ясен горизонт
И солнце сыплет блеск по отмелям и лудам,
Ни Адриатика волна, ни Геллеспонт
Таким темнеющим не блещут изумрудом;

У них не так густа бывает синь черты,
Делящей горизонт на небо и на море...
Здесь вечность, в веяньи суровой красоты
Легла для отдыха и дышит на просторе!

РАССВЕТ В ДЕРЕВНЕ

Огонь, огонь! На небесах огонь!
Роса дымится, в воздух отлетая;
По грудь в реке стоит косматый конь,
На ранний востер уши наостряя.
По длинному селу, сквозь дымку темноты,
Идет обоз с богатой кладью жита;
А за селом погост и низкие кресты,
И церковь древняя, мешуйками покрыта...
Вот ставней хлопнули: в окне старик седой
Гладит и крестится на первый луч рассвета;
А вот и девушка извилистой тропой
Идет к реке, огнем зари пригрета.
Готово солнце встать в мерцающей пыли,
Кренчает пенье птиц под бесконечным
сводом,
И тянет ст полей гвоздикую и медом
И теплой свежестью распаханной земли...

ПРОЩАНИЕ ЛЕТА

Осень землю золотом одела,
Холодея, лето уходило
И земле, сквозь слезы улыбаясь,
На прощанье тихо говорило:

«Я уйду, — ты скоро позабудешь
Эти ленты и цветные платья,
Эти астры, эти изумруды
И мои горячие объятия.

Я уйду — роскошная южанка —
И к тебе, на выстывшее ложе
Призовет любовница другая,
И свежей, и лучше, и моложе.

У нее алмазы в ожерелье,
Платье бело и синее льдами,
Щеки бледны, очи светлосниги,
Волоса осыпаны снегами...

О, мой друг! Оставь ее спокойно
Жать тебя холодной рукою:
Я вернусь, согрею наше ложе,
Утомлю и утомлюсь с тобой!»

Старый плюц здесь ползет
Вдоль мохнатых корней;
Ель, замшившись, растет —
Вся в дремоте ветвей...
Опуститься б в тени,
Поглядеть на закат,
Как ночные огни
В небесах заблестят,
И, с темнеющим днем,
Всем своим бытием,
Как и день, отойти
На иные пути...

СНЕГА

Месяц в небе высоком стоит,
Степь, покрытая снегом блестит,
И уж сколько сияет по ней
Голубых и зеленых огней...

Неподвижная ночь холодна,
И глубоко-нема тишина,
И ломается в воздухе свет
Проплывающих звезд и планет...

Вот из белых, глубоких снегов,
На какой-то таинственный зов,
Словно белые люди встают,
И встают, и идут, и растут!

Светят лики неясные их,
И проходят одни сквозь других,
И по степи мерцает вокруг
Много, много светящихся рук...

ОСЕННИЙ МОТИВ

Мой старый клен с могучею листвою,
Еще ты густ и зелен, и тенист,
А между тем чуть видной желтизною
Уже слегка озолочен твой лист.

Еще и птиц напевы голосисты,
Ты ими полн, как плеском бег реки;
Еще висят вдоль плеч твоих монисты —
Твоих семян созревших мотыльки.

В них бывший цвет — твои воспоминанья,
Остатки чувств, испытанных тобой;
Но ты сказал им только: «До свиданья!»
Ты будешь жить и будущей весной.

Глубокий сон зимы обледенелой
Додремлешь ты и, покидая сны,
Весь обновлен, листвою своею всецело
Отдашься ласкам будущей весны.

Для нас — не то. Хотя живут стремленья,
И в сердце песнь, и грез душа полна,
Но, старый друг, нет людям обновленья.
И жизнь идет, как нить с веретена.

УТРО

Вот роса невидимо упала,
И восток готовится пылать;
Зелень вся как будто бы привстала
Поглядеть, как будет ночь бежать.

В этот час повсюду пробужденье...
Облака, как странники в плащах,
На восток сошлись на поклоненье
И горят в пурпуровых лучах.

Солнце выйдет, странников увидит.
Станет их и греть и золотить;
Всех согреет, малых не обидит.
И пошлет дождем наш мир кропить!

Дождь пойдет без толку, без разбора,
Застучит по камням, по водам,
Кое-что падет на долю бора,
Мало что достанется полям!

УТРО НАД НЕВОЮ

Вспыхнуло утро в туманах блуждающих,
Трепетно, робко сказалося едва...
Точно как сеткою блесков играющих,
Мало-помалу покрылась Нева!

Кой-где блеснут! В полутьне облаченных
Высятся зданья над сонной водой,
Словно на лики свои оброненные
Молча глядятся, любуясь собой.

Света все больше... За тенью лиловою
Солнце чеканит струей огневой
Мачты судов над водой бирюзовою,
Выше их, ярче их — шпиль крепостной;

Давняя мачта! Огней прибавляется!
Блеск так велик, что, где чайка крылом
Тронет волну — блеск волны разрывается,
Гребень струи проступает пятном.

Вон пробираясь, как будто с усилиями,
В этом великом свету, кое-где
Ялики веслами машут, как крыльями,
Светлые капли роняя к воде...

Что-то как будто восточное, южное
Бидится всюду! Какой-то налет,
Пыль перламутра, сиянье жемчужное --
Вдоль широко разгоревшихся вод...

Вот... Вот и говор пошел, и несмелое
Всюду движенье; заметен народ...
Гибнет картина, как чудное целое
Сгинет совсем, но частям пропадет...

Ну, и тогда, если где пад пучиною
Чайка заденет плавучую глыбь,
Там не пятно промелькнет над картиною --
Блестками, искрами скажется зыбь!

Мефистофель

I

МЕФИСТОФЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВАХ

Я кометой горю, я звездою лечу
И куда посмотрю, и когда захочу,
Я мгновенно везде проступаю!
Означаюсь струей в планетарных парах,
Содроганием звезд на старинных осях —
И внушаемый страх — замечаю!..

Я упасть — не могу, умереть — не могу!
Я не лгу лишь тогда, когда истинно лгу —
И я мир возлюбил той любовью,
Что купила его всем своим существом,
Чувством, мыслью, мечтой, всею явью
А не только распятем и кровью, и сном —

Надо мной ли венец не по праву горит?
У меня ль на устах не по праву царит
Беспощадная, злая улыбка?!.
Да, в концерте творенья, что уши дерет
И тогда только верно поет, когда врет, —
Я, конечно, первейшая скрипка!..

II
НА ПРОГУЛКЕ

Мефистофель шел, гуляя,
По кладбищу, вдоль могил...
Теплый, яркий полдень мая
Лик усталый золотил.

Мусор, хворост, тьма опенок,
Гниль какого-то ручья...
Видит: брошенный ребенок
В свертке грязного тряпья.

Жив! Он взял ребенка в руки,
Под терновником присел
И, подделавшись под звуки
Детской песенки, запел:

«Ты расти и добр и честен;
Мать отыщешь — уважай;
Будь терпением известен,
Не воруй, не убивай!

Бога, самого большого,
Одного в душе имей;
Но желай жены другого;
День субботний чты, говей...

Ты евангельское слово
Так, как должно, исполняй,
Как себя люби другого;
Бьют — так щеку подставляй!

Пусть блистает добродетель
Несгорающим огнем...
Амен! Амен! Бог свидетель,
Люб ты будешь мне по нем!

Нынче время наступило,
Новой мудрости пора...
Что ж бы, впрямь, со мною было,
Если б не было добра!?

Для меня добро бесценно!
Нет добра, так нет борьбы.
Нужно мне, и несомненно,
Добродетелей горбы...

Будь же добр!» Покончив с пеньем,
Он ребенка положил
И свсим благословеньем
В свертке тряпок осеил!

III ПРЕСТУПНИК

Вешают убийцу в городе на площади,
И толпа отсюду смотрит необъятная!
Мефистофель тут же; он в толпе шатается;
Вдруг в него зашла мысль совсем приятная.

Обернулся мигом. Стал самим преступником
На себя веревку помогал набрасывать;
Вздернули, повесили! Мефистофель тешится
Начал выкрутасы в воздухе вышлясывать.

А преступник скрытно в людях пробирается,
Злодеянье новое в нем тихонько зреет,
Как бы это чище, лучше сделать, думает,
Как удрать непойманым, — это он сумеет.

Мефистофель радостно, истинно доволен,
Что два дела сделал он людям из приязни:
Человека скверного отпустил на волю,
А толпе дал зрелище всенародной казни

ШАРМАНЩИК

Воздуху, воздуху! Я задыхаюсь...
 Эта шарманка, что уши пилит,
 Мучает, душит... я мыслью сбиваюсь...
 Глупый шарманщик, в окошко глядит!

Эту забытую песню когда-то
 Слушал я иначе, слушал душой,
 Слушал тайком... скрыл от друга, от брата!
 Цумал: не знает никто под луной...

Вдруг ты воспрянула, заговорила!
 Полная неги, мечте говоришь,
 Время ли, что ли, тебя изменило?
 Нот нехватает — а все ты звучишь!

Значит, подслушали нас! Ударенья
 Ясны и четки на тех же словах,
 Что и тогда, в эту ночь увлеченья...
 Память сбивается, на сердце страх!

Злая шарманка пилит и хохочет,
 Песня безумною стала сама,
 Мысль, погасая, проклятья бормочет...
 Не замолчишь ты, — сойду я с ума!

Слышу, что тянет меня на отщенья...
Но ведь то время погасло давно,
Нет тех людей... нет ее... Навожденье!.
Глупый шарманщик все смотрит в окно!

V

МЕФИСТОФЕЛЬ,
НЕЗРИМЫЙ НА РАУТЕ

В запахе изысканном,
 С свойствами дурмана,
 В волнах Jockey-Club'a
 И Lang-Hang'a,
 На блестящем рауте
 Знати светлолобой,
 Мефистофель движется
 Сам своей особой!
 И глядит с любовью
 На одежды разные,
 Как блестят на женщинах
 Крестики алмазные!

Общество сидело,
 Тараторило,
 Издевалось лгало,
 Нустословило!..
 Чудилось: то были
 Змеи пестрые!
 В каждом рту черпели
 Жада острые!

И в роскошной зале
Угощаючись,
В креслах, по диванам
Извиваючись,
Из глубоких щелей,
Из земли сырой
С сладостным шипеньем
Собрался их рой...

Чуть кто выйдет в двери, —
Как кинжалами
Вслед за ним стремятся,
Блещут жалами!
Занимались долго
С умилением,
Часто чуть не плача,
Поношением...
А когда до-нельзя
Иззлословились,
Задушить друг дружку
Приготовились!
А когда хозяйка, —
Очень крупный змей, —
Позвала на ужин
Дорогих гостей, —
Веселы все были,
Будто собрались
Вешать человека
Головою вниз!..
В запахе изысканном,
С свойствами дурмана,
В волнах Jockey-Club'a
И lang-Ilang'a

Мефистофель движется,
Упиваясь фразами,
И не меркнут крестики --
Все блестят алмазами!!

VI

ЦВЕТOK, СОТВОРЕННЫЙ
МЕФИСТОФЕЛЕМ

Когда мороз зимы наляжет
Холодной тяжестью своей
И все, что двигается, свяжет
Цепями тысячи смертей;

Когда над замершею степью
Сиянье полночи горит;
И, поклоняясь благолепию
Небес, земля на них глядит, —

В юдоли смерти и молчанья,
В холодных, блещущих лучах,
С чуть слышным трепетом дрожанья
Цветок является в снегах!..

Нежнейших игл живые ткани,
Его хрустальные листы
Огнями северных сияний,
Как соком красок, налиты!

Чудна блестящая порфира,
В ней чары смерти, прелесть зла!

Он — отрицанье жизни мира,
Он — отрицание тепла!

Его, рожденного зимою,
Никто не видит и не рвет,
Лишь замерзающий порою
Сквозь сон едва распознает!

Слезами смерти он опрыскан,
В нем звуки есть, в нем есть напев!
И только тот цветом тем взыскан.
Кто отошел, окоченев...

МЕФИСТОФЕЛЬ В СВОЕМ МУЗЕЕ

Есть за гранью мирозданья
 Заколоченные зданья,
 Неизведанные склады, —
 Где положены громады
 Всяких планов и моделей,
 Неисполненных проектов,
 Смет, балансов и проспектов,
 Не добравшихся до целей!

Там же тлеют ворохами
 С перебитыми венцами
 Закатившиеся звезды...
 Там, в потемках свивши гнезды,
 Силы темные роятся,
 Свадьбы празднуют, плодятся...

В том хаосе галерея
 Вьется, как в утробе змея,
 Между гнили и развалин!
 Щель большая! Из прогалин
 Боковых, бессчетных щелей, —
 От проектов и моделей
 Всет сырость разложенья
 В атом выкидыш творенья!

Там, друзьям своим в потеху,
Ради штуки, ради смеху,
Мефистофель склад устроил:
Собрал все свои костюмы,
Порожденья темной думы,
Собрал их и успокоил!

Под своими нумерами,
Все они висят рядами,
Будто содранные шкуры
С демонической природы!
Видны тут скелеты смерти,
Астароты и вампиры,
Самотракские кабиры,
Сатана и просто черти,
Дьявол в сотнях экземпляров,
Духи мора и пожаров,
Облик кардинала Реца,
И Елена — la Belezza!

И в часы отдохновенья
Мефистофель залезает
В свой музей и вдохновенья
От костюмов ожидает.
Курит он свою сигару,
Ногти чистит и шлифует.
Носит фракную он пару
И с муциром чередует:
Сшиты каждый по идее,
Очень ловки при движеньи...
Находясь в употребленьи,
Не имеются в музее!

УШ

СБОРНЫЙ СТОРОЖ

Спят они в храме под плитами,
Эти безмолвные грешники!
Гробы их прочно поделаны:
Все то дубы да орешники...

Сам Мефистофель там сторожем
Ходит под древними стаями...
Чистит он, день-денской возится
С урнами и саркофагами.

Ночью, как храм обезлюдест,
С тряпкой и щеткой обходит!
Пламя змеится и брыкжет
Там, где рукой он проводит!

Жжет это пламя покойников...
Но есть такие могилы,
Где Мефистофелю-сторожу
Вызвать огонь не под силу!

В них идиоты опущены,
Нищие духом отчитаны:
Точно водой, глупой кротостью,
Эти могилы пропитаны.

Гаснет в воде этой пламя!
Не откачать и не вылить...
И Мефистофель не может
Нищества духом осилить!

В ВЕРТЕПЕ

Милости просим, — гнусит Мефистофель, —
 войдем!
 Дым, пар и копоть; любуйся, какое движенье!
 Пятнами света сияют где локоть, где грудь,
 Кто-то акафист поет! Да и мне слышно
 пенье...

Тут проявляется, в темных фигурках своих,
 Крайнее слово всей вашей крещеной
 культуры!
 Стоит, мощной побренчав, к преступленью
 позвать:
 Все, все исполнят милейшие эти фигуры...

Слушай, мой друг, но прошу — не сердчай,
 сделай милость!
 За двадцать три слишком века до этих людей,
 Вслед за Платоном, отлично писал
 Аристотель;
 За девятнадцать — погиб Иисус Назарей..

Ну, и скажи мне, кто лучше: пот эти, иль те,
 Что, безымянные, даже и бога не знают,

ПОЛИШИНЕЛИ

Есть в продаже на рынках, на тесьмах, на
пружинках

Картонажные полишинели.

Чуть за штку потянут, вдруг огромными
станут

Уменьшились, — опять подлиннели. . .

Вот берет Мефистофель человеческий
профиль,

Относимый к хорошим, к почтенным,

И в общественном мненье создает измененье
По причинам, совсем сокровенным.

Так, вот этот! Считают, что другого не знают,

Кто бы так был умен и так честен,

Все в нем складно — не худо, одним словом;
что чудо!

Добр и кроток, красив и прелестен!

А сегодня открыли, всех и вся убедили,

Что во всем он, и всюду ничтожен!

Что живет слишком робко, да и глуп он
как пробка

Злом и завистью весь растревожен!

А вот этот? Сегодня, как у гроба господни
Бесноватый, сухой, прокаженный,
И поруган и болен, и терпеть приневолен,
Весь ужасной болезнью прожженный!

Завтра — детище света! Муж большого
совета,

Где и равный ему не найдется...

Возвеличился профиль! Дернул пнуть
Мефистофель

И кривляную фигурку смсется...

*Из дневника
одностороннего человека*

Из Каира и Ментоны,
Исполняя церкви чин,
К нам везут мужья и жены
Праха любимых половиц...

В деревнях и под столицей
Их хоронят на Руси:
На, мол, жил ты за границей —
Так земли родной вкуси!

Бренным телом на подушке
Все отдай, что взял, назад...
За рубли вернув полушки,
Русский край, ты будешь рад!

Да, нынче нравятся «Записки», «Дневники»!
Жизнишки глупые, их мелкие грешки
Молзут на свет и требуют признанья!
Из худосочия и умственных расстройств.
Из лени, зависти и прочих милых свойств
Слагаются у нас бытописанья —
И эта пища по зубам
Беззубым нам!

Не стонет справа от меня больной,
Хозяйка слева спорить перестала,
И дети улеглись в квартире надо мной.
И вот кругом меня так тихо, тихо стало!

Газета дня передо мной раскрыта...
Она мне не нужна, я всю ее прочел:
Попрежнему в ходу ослиные копыта,
И за клочок сенца идет на пытку вол!

И так я утомлен отсутствием свободы,
Так отупел от доблестей людей,
Что крики кошек и возню мышей
Готов приветствовать, как голоса природы.

И они в звуках песни, как рыба в воде,
Плавали, плавали!
И тревожили ночь, благовонную ночь,
Звуками, звуками!
Вызвала она на любовь, на огонь,
Голосом, голосом,
И он ей отвечал, будто вправду пылал,
Тенором, тенором!
А в саду под окном ухмылялась тайком
Парочка, парочка, —
Эти молодые были и петь не могли,
Счастливы, счастливы...

Вся земля — одно лицо! От века
По лицу тому с злорадством разлита,
Чтоб травить по воле человека,
Лживых мыслей злая кислота...
Арабески!.. Каждый день обновки!
Что-то будет? Хуже ли чем встарь?
Нет, клянусь, такой татуировки
Ни один не сочинял дикарь...

Еду по улице: люди зевают!
В окнах, в каретах, повсюду зевки,
Так и проносятся, так и мелькают,
Будто над лугом весной мотыльки.
Еду... И сам за собой замечаю:
Спал я довольно, да, будто, не впрок!
Рот мой шевелится... право, не знаю:
 Это улыбка или зевок?

Мой друг! Твоих зубов остатки
Темны, как и твои перчатки;
И сласть, и смрад речей твоих
Насели ржавчиной на них.
Ты весь в морщинах, весь из пятен,
Твой голос глух, язык невнятен;
В дрожанье рук, в морганье век
Видать, что ты за человек!
Но вот, четыре длинных года
Как ты, мой набожный урод,
Руководишь казной прихода
По отделению сирот!

Вот новый год нам святцы принесли
Повсюду празднуют минуту наступленья,
Молебны служат, будто бы ушли
От зла, печали, мора, потонленья!
И в будущем году номолятся опять,
И будет новый год им новою обидой...
 Что, если бы встречать
 Иначе: панихидой?

Я сказал ей: тротуары грязны,
Небо мрачно, все уныло ходят...
Я сказал, что дни однообразны
И тоску на сердце мне наводят,
Что балы, театры — надоели...
«Неужели?»

Я сказал, что в городе холера,
Те — скончались, эти — умирают...
Что у нас поэзия — афера,
Что таланты в пьянстве погибают,
Что в России жизнь идет без цели...
«Неужели?»

Я сказал: ваш брат идет стреляться.
Он бесчестен, предался пороку...
Я сказал, прося не испугаться:
Ваш отец скончался! Ночью к сроку
Доктора приехать не успели...
«Неужели?»

Свобода торговли, опека торговли —
Два разные способа травли и ловли:
Всегда по закону, в угоду купцу,
Стригут, так иль этак, все ту же овцу.

СТАТУЯ

Над озером тихим и сонным,
Прозрачен, игрив и певуч,
Сливается с камней на камни
Холодный, железистый ключ.

Над ним молодой гладиатор:
Он ранен в тяжелом бою,
Он силится брызнуть водою
В глубокую рану свою.

Как только затеплятся звезды
И ночь величаво сойдет,
Выходят на землю туманы, —
Выходит русалка из вод.

И, к статуе грудь прижимая,
Косою ей плечи обвив,
Томится она и вздыхает,
Глубокие очи закрыв.

И видят полночные звезды,
Как просит она у него
Ответа, лобзанья и чувства,
И как обнимает его.

И видит полночные звезды,
И шепчут двурогой луне,
Как холоден к ней гладиатор
В своем заколдованном сне

И долго два чудные тела
Белеют над спящей водой...
Лежит неподвижная полночь,
Сверкая алмазной росой;

Сияет торжественно небо,
На землю туманы ползут;
И слышно, как мхи прорастают,
Как сонные травы цветут...

Под утро уходит русалка,
Печальна, бела и бледна,
И, в сонные воды спускаясь,
Глубоко вздыхает она...

ВЕСТАЛКА

В храме пусто. Красным светом
Обливаются колонны,
С тихим треском гаснет пламя
У весталки Гермियोны.

И сидит она на камне,
Ничего не замечая,
С плеч долой сползла одежда.
Блещет грудь полунагая.

Бледен лик преображенный,
И глаза ее закрыты,
А коса, сбежав по тоге,
Тихо падает на плиты.

Каждой складкой неподвижна,
Не глядит и не вздыхает;
И на белом изваяньи
Пламя красное играет.

Снится ей покой богатый,
Золоченый и счастливый;
На широком, пышном ложе
Дремлет юноша красивый.

В ноги сбито покрывало,
Жмут докучные повязки,
Дышат свежестью и силой
Все черты его и краски...

Снится ей народ и площадь,
Снятся ликторы, эдилы,
Шум и клики, — мрак, молчанье
И тяжелый гнет могилы...

В храме пусто... Гаснет пламя!
Чуть виднеются колонны...
Веста! Веста! Пощади же
Сон весталки Гермियोны!..

МЕМФИССКИЙ ЖРЕЦ

Когда я был жрецом Мемфиса
Тридцатый год,
Меня пророком Озириса
Признал народ.

Мне дали жезл и колесницу,
Воздвигли храм;
Мне дали стражу, дали жрицу —
Причли к богам.

Во мне народ искал защиты
От зол и бед;
Но страсть зажгла мои ланиты
На старость лет.

Клянусь! Клянусь бессмертным Фтою, ---
Широкий Нил,
Такой красы своей волною
Ты не поил!..

Когда, молясь, она стояла
У алтаря
И красным светом обливала
Ее заря;

Когда, склонив свои ресницы,
И вся в огне,
Она, по долгу первой жрицы,
Кадила мне...

Я долго думал: царь по власти,
Я господин
Своей тоски и мощной страсти
Моих седин;

Но я признал, блестя в короне,
С жезлом в руке,
Свой приговор в ее поклоне,
В моей тоске.

Раз, службу в храме совершая,
Устав молчать,
Я, перстень свой сронив, вставая,
Велел поднять.

Я ей сказал: «К началу ночи
Взойдет звезда,
Все лягут спать; завесив очи —
Придешь сюда».

Заря, кончаясь, трепетала
И умерла,
А ночь с востока набегала —
Пышна, светла;

И, купы звезд в себе качая,
Зажегся Нил;

В своих садах, благоухая,
Мемфис почил.

Я в храм пришел. Я ждал свиданья,
И долго ждал;
Горела кровь огнем желанья, —
Я изнывал.

Зажглась румяная денница,
И ночь прошла;
Проснулась шумная столица, —
Ты не была...

Тогда, на завтра, в жертву мщенью,
Я, как пророк,
Тяжелой нитке и сожженью
Ее обрек...

И я смотрел, как исполнялся
Мой приговор,
И как, обуглясь, рассыпался
Ее костер!

НОЧЬЮ В ЛЕСУ

В старый лес вхожу я светлой ночью;
Каждый лист луною озарен,
И осыпан неподвижным светом,
Старый лес как будто весь зажжен,

Вижу я: в изгибах безобразных
Своды сучьев гнутся до корней,
И блестят, одсты пестрым мохом,
Груды камней и подгнивших пней.

Ночь чудес! В таинственном покое,
Ты прекрасней северного дня...
Вижу я, что кто-то темный, темный,
По деревьям мчится на меня.---

Тихо обнял и ушел в деревья...
Это туча, в небе проходя,
Черной тенью пронеслась по лесу,
За другою тучею следя.

Вон колдун и великан косматый.
Свесив харю страшную свою,
Поцалил и душит под собою
Бессловесных карликов семью...

Нет, неправда! Нет там великана:
Это хата у ручья стоит,
С грузной крышей, на больших камнях:
В ней лесник, должно быть, крепко спит.

Вон вдали, над озером витает
Рой русалок, светлых и нагих;
Сколько лиц мне видится знакомых,
Сколько лиц давно уж неживых!

Вижу я: есть очень молодые,
Есть постарше — больше их числом...
Хоть бы та, что грудь дает ребенку
И поит холодным молоком!

Что глядишь мне так упорно в очи?
Взор знакомый — ты позеленел!
Свет воды мне в сердце затекает...
Как бы я уйти, бежать хотел!

Вздор! Обман! Русалок нет на свете...
Задалась утопленница мне?
Что ж, что я видал ее когда-то, —
Что гулял я с нею при луне?

Только нет! Она ко мне подходит...
Светлый лес, погасни поскорей!
Гы, заря! Что ж не идешь так долго —
С жизнью, с правдой, с краскою твоей!

Ближе, ближе... Раздается хохот,
Раздвигаю куцу тростника:
В сердце холод, а к ногам, дымяся,
Подкатилась сонная река...

ЛЮДСКИЕ ВЗДОХИ

Когда в час полуночный люди все спят,
И светлые звезды на землю глядят,

И месяц высокий, дробясь серебром,
В полях выстилает ковер за ковром.

И тени в причудливых гранях своих
Лежат, повалившись одни на других;

Когда в неподвижно сверкающий лес
Спускаются росы с высоких небес,

И белые тучи по небу плывут,
И горные кручи в туманах встают —

Легки и воздушны в сияньи лучей,
На игры слетаются вздохи людей;

И в образах легких, светясь красотой,
Бесплотны рожденные светом и тьмой,

Они вереницей, незримо для нас,
Наш мир облетают в полуночный час.

С душистых сиреней, с ясминных кустов,
С бессонного ока, с могильных крестов,

С горящего сном молодого лица,
С опущенных век старика-мертвеца,

Со слез, ускользающих в лунном свету,
Они собирают лучи на лету;

Собравши, — венцы золотые плетут,
Но спящему миру тревожно снуют

И гибнут под утро, при первых лучах,
С венцами на лицах, с мольбой на устах.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ

В лесах алоэ и араукарий,
В густой листве бананов и мимоз —
Следы развалин; к ним факир и ларий
Порой идут, цепляясь в кущах роз.

Людские лики в камнях проступают,
Ряды богов поверженных глядят!
На страже — змеи! Видимы бывають,
Когда их гнезда люди всполошат.

Зловещий свист идет тогда отсюду:
Играют камни медной чешуей!
Спеши назад! Не то случится худу:
Нарушил ты обещанный покой.

Покой! Покой!.. Когда-то тут играла
Людских судеб блестящая волна,
Любовью билась, арфами звучала
И орошалась пурпуром вина.

Свободны были мыслей кругозоры,
Не знала страсть запретного плода,
И мощный царь, — жрецов вещали хоры,
Мог с божеством поспорить иногда. . .

Каких чудес дворцы его не знали
В волшебных снах чарующих ночей!
Каких красот в себе не отражали
Часы любви во тьме его очей!

Раз было так: чуть занялась денница,
Полночный мир, смолкая, утихал,
Забылась сном на львиной шкуре жрица
Верховный жрец последним отплясал.

Еще с утра, с парочными гонцами,
Проведал царь победу над врагом.
Последний враг! Царь — старший над
царями!
Он делит землю только с божеством!

Погасло в нем последнее желанье,
Смутился дух свободой без границ...
И долго царь глядел на пирувань
Сквозь полутьму опущенных ресниц.

«Ко мне, мой сын!» И до царева ложа.
На утре дней в лучах зари горя,
По ступеням, дремавших не тревожа,
Подходит робко первенец царя.

И царь, приняв от сына поклоненье,
Заре навстречу, звукам арфы вслед,
В словах негромких, будто дуновенье,
Вещал ему последний свой завет:

«Когда мой час неведомый настанет
И сквозь огонь и ароматы смол

Свободный дух в немую вечность кадет,
Приемлешь ты в наследие престол.

Свершив обряд, предав меня сожженью,
Как быть должно по старой старине,
Ты этот город обратишь к забвенью,
Построишь новый, дальше, в стороне, —

Чтоб тишина навеки водворилась
Здесь, где замкнет мне смерть мои уста,
Чтоб в ходе лет здесь вновь не зародилась
Людских деяний вечная тщета...

Чтоб никогда ни клики поминанья,
Ни звук молитв в кладбищенской тиши
Не нарушали тихого блужданья
Свободных снов живой моей души.

Я так устал, я так ищу покоя,
Что даже мысль о полной тишине
Дороже мне всего земного строя
И всех других ясней, понятней мне...»

И божество завет тот услышало
И, смерть послав мгновенную зарю,
В порядке стройном тихо обращало
В палящий день прохладную зарю.

И далеко от этих мест отхлынул
Людских страстей живой круговорот,
Роскошный лес живую чащу сдвинул,
И этих мест чуждается народ.

Змеиный свист здесь слышен отовсюду,
Сверкают камни медной чешуей.
Спешь назад! Не то случится худо —
Нарушил ты обещанный покой.

БРАВИ

Я был удалым молодцом!
Неслись со струн моей гитары
Любви и молодости чары.
Я был удалым молодцом!

О мне в стенах монастырей
Идет молва, разводят ляды,
И крупный смех колеблет ряссы
Святых отцов и матерей.

Не раз гонялися за мной,
Смущались поисками сбирьы;
Меня вслед за мной квартиры,
Не раз гонялися за мной.

В изображении сожгли
Меня, не могли взять в натуре!
То был позор прокуратуре:
В изображении сожгли!

Я знал, где судьям путь лежал, —
Пошел на станцию возницей;
Со мной кто ехал — мчался птицей!
Я знал, где судьям путь лежал. . .

И помню я, как я их вез.
Дорога кручами бежала.
Они не чуяли нимало,
Зачем, куда и кто их вез.

И обо мне их речь была.
Молчу и слышу за спиною —
Толкуют: как им быть со мною?
Их откровенна речь была...

Узнал я, кто меня продаст,
Какую он получит цену
Но уговору за измену, —
Узнал я, кто меня продаст.

Узнал! Не вот изгиб пути.
Над темной кручею обвала
Дорога резкий круг давала,
Чуть означался край пути.

А судьи ту же речь ведут...
Я обернулся к ним: «Синьоры!
Недаром славны наши горы:
Ведь это я, синьоры, тут!»

Мне не забыть их глухих глаз,
Что вдруг расширились не в меру!
Я разогнал коней к барьеру,
Бичом хватил их в самый раз,

Пустил из рук весь ком вожжей...
Прыжок к скале... Что дальше было,
Как их по кручам вниз дробило, —
Не видел... Жалко мне коней!

Да, был я бравым молодцом!
Неслись со струн моей гитары
Любви и молодости чары...
Да, был я бравым молодцом!

ПЕТР I НА КАНАЛАХ

Как по шпильям, верхам, шатровым куполам
Летним утром огонь разгорался!
Собирался царь Петр в самый мирный поход
И с женой Катериной прощался:

«Будь здорова, жена! Не грусти, что одна:
Много, видишь, каналов готово;
Еду их осмотреть, чтоб работе спореть...
Шапши, если что... Будь здорова!»

Глухо дебри лежат, над болотами спят...
Много дела — да силы-то малы!
Надо дебрь разбудить, чтоб ей тоже
служить...
Пусть, мол, глянут по дебри каналы!

Где в колесном возке, где на бодром коне,
Едет царь вековыми лесами;
Изучает страну, во всю ширь и длину
Наблюдает своими очами...

«Надо, надо взглянуть! Норовят все надуть.
Может, даже совсем не копают?
Поглядишь — простецы эти жмоты-купцы!
А где страху им нет — надувают!»

Царь с дубиной в руке, в распашном армяке,
Поверяет работы и платы.

И как в небе заря — так лицо у царя
Всё сияет! Он жалует смехом!
И уж радостен он, и уж как подарен
Неожиданным вовсе успехом!

А поодаль стоит молчаливый синклит
Хитрецов, мудрецов на захваты!
«Уж вот на! Удалось! У Петра сорвалось!
Не замай наших! Мы ли не хвататы!»

Не пылать бы заре! Не блеснуть бы воде!
Не валиться бы на воду мошкам!
Не казну б воровать, не Петра надувать,
Не подменивать блюда лукошком!

Головой царь поник... Потемнел его лик...
Дума черная радость хоронит...

Отчего тут вода, — вздумал царь, — не туда,
Куда надо бы ей, мошку тонит?»

По откосу долой сходит тяжелой стопой
И, к воде подошедши, нагнулся,
И дубинку воткнул... Чуть конец затонул...
Подождал это царь... Оглянулся!...

Ох! Не небу гореть! Не царю бы краснеть!
Все, бледней, молчанье хранили...

А из царских очей, звезд вечерних ярчей,
Две слезы, две слезы простушили...

Ну, а там по пятам, в поученье ворам,
Как должно, принялись за расправу. . .
Прав был вор, говоря про обычай царя:
Сокрушит, если что не по нраву!

НОВГОРОДСКОЕ ПРЕДАНИЕ

Да, были казни над народом...
Уж шесть недель горит конец!
Назад в Москву свою походом
Собрались царские стрельцы.

Сместить народ оцепенелый
Иван епископа послал.
Чтоб, на кобылке сидя белой,
Он в бубны бил и забавлял.

И новгородцы, не переча,
Глядели бледною толпой.
Как медный колокол с их Вечи
По воле царской снят долой!

Сияет коний лес колючий,
Повозку царскую везут;
За нею колокол невучий
На жердях гнущихся несут.

Холмы и топи! Глушь лесная!
И ту размыло... Как тут быть?
И царь, добравшись до Валдая,
Приказ дал: колокол разбить.

Разбили колокол, разбили!..
Сгребли валдайцы медный сор,
И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор...

И, будь старинную вещь,
В тиши степей, в глуши лесной,
Тот колокольчик, изнывая,
Гудит и бьется под дугой...

О ЧУДОДЕЙНОМ КОНЕ

(Из русской сказки)

В стары годы, в дальних странах
Бел-кудряв жил богатырь;
Не бездолен, только болен
Прочным телом в глубь и в ширь.

Что ни сутки — лихоманка;
Чуть приступит — бьет да бьет.
Нудит — тянет, тянет — нудит:
Изнобит — ударит в пот!

Сна не знает, есть не может.
Не приходится и пить;
Не себя он — голод кормит
И не может накормить.

Уж он думал, думал, думал.
Мудрым знахарям платил,
Клад поклонь, свечи ставил
И паломником ходил!

Повстречал бедняга бабу;
Говорит богатырю:
«Помогу тебе советом,
Добрим словом подарю.

Есть, мол, конь один на свете.
Этот конь быстрее стрелы!
Бурый, ноги по лопатку
От копыта вверх белы.

Рот — как пасть; язык — что блюдо
Грива ходит колесом;
Мышцы тяжки и могучи:
Оба уха — колпаком;

Хвост — кутас; оленьи мышкы;
Ростом — холки не достать!
Под копытом — будто в море
Мелких раковин искать!

А глаза на лбу, что чаши,
Круглым яхонтом горят...
Конь — что лютый зверь по виду.
Взгляд его — свирепый взгляд!

Коль коня того отыщешь,
На двенадцать на подруг
Подпругаешь, да зауздишь,
Да внушишь ему испуг,

Да наездишь, — полегчает!
Ну и вот тебе зарок:
Первым делом — наиграйся
В бабки, что ли, иль в тычок;

А затем уж — пей запоем,
Пей и в ночь, и в день-денской;
Начинай ты пить за здравье,
Продолжай за упокой.

Шей вина — на сколько влезет;
А как одурь заберет,
Склонит сон, сомкнутся вежды —
Конь к тебе и сам придет. . .»

Богатырь, по слову бабы,
Безустанно пьет да пьет.
По зароку исполняет. —
Только конь к нему нейдет

Конь гуляет где-то в поле.
Говорит, его видал
Некий странничек с Афона —
Да зарок молчанья дал.

ЦЕРКОВНЫЙ СТОРОЖ

Ладно! Я тащить готов
И кадило, и покров...

Только вышью вот вперед:
Сухость горло мне дерет!

Нам, церковным сторожам,
Всё ходить по мертвецам...

Слышь: сегодня на заре,
В ближнем доме, во дворе,

Барин пулей лоб разбил!
Сумасшедшим, значит, был...

И велели мне тащить
Обиход, чтоб хоронить.

Мало ль их в столице мрет?
На покой идет народ!

Видел в церкви я у нас,
Чуть есть служба, каждый раз.

Бледнолицую одну...
Как пройду я, да взгляну!

Вид-то жалостный такой,
Почитай — что не живой...

Будет скоро ей капут!
Хоронить нас позовут;

Я и к ней, значит, стащу
И кадило, и свещу!..

Рядом с ней стоял порой
Молодец один лихой.

И, хоть я и нын бывал,
Ну, а все меж них слышал

Говор этакой... слова...
Шопотом... едва, едва...

А вчера вот, в первый раз,
В несуразный, значит, час.

В храм пришли... Ну, невзначай
Повстречались. — мне на чай!

Мало ль что известно нам,
Нам, церковным сторожам?

Прихожу, значит, к нему.
Я к убивцу к самому,

Прихожу... ему поклон...
Глянул в лик! Тот самый... он!

Стал он барыне подстать:
Бледный, краски не видать.

Только лоб с угла разбит.
Перевязан и обмыт!

Что за притча! Ой, ой, ой.
Ведь вчера-то был живой!..

КАРЛЫ

В водах гелубого бассейна
Купаются жены Гуссейна;
Как мрамор, тела их белы,
Достойны великой хвалы. . .

Курносы, черны и косматы,
Арабки несут ароматы,
Они их и сыплют, и льют,
И дивные песни поют. . .

Любимцы могучего бея,
На жен исподлобья глаза,
Два старые карла сидят
И тоже тихонько гнусят. . .

Вот жены выходят, толпятся,
На пышные ложа ложатся,
И к ним, — не по росту грешны,
Идут посидеть горбуны. . .

Ну, бог с ним, с наследственным
беем! . . .

Мы все что-нибудь да имеем,
По карлам-то, карлам за что?
И два их! Могло бы быть сто!

В пути

В ЗАОНЕЖЬЕ

Верет сотни на три одинокий.
Готовясь в дебрях потонуть,
Бежит на север неширокий.
Почти всегда пустынный путь.

Порою, по часам по целым,
Никто не едет, не идет;
Трава под семенем созрелым
Между колея его растет.

Унылый край в молчаньи тонет...
И, в звуках медленных, без слов,
Одна лишь проволока стонет
С пронумерованных столбов...

Во имя чьих, каких желаний
Ты здесь, металл, заговорил?
Как непрерывный ряд стенований.
Твой звук задумчив и уныл!

Каким пророчествам тут сбыться.
Когда, решившись заглянуть,
Жизнь стонет раньше, чем родиться,
И стоном пролагает путь?!

НА ВОЛЖСКОЙ ВАТАГЕ

Что на Волге, на матушке, было!
Солнце за стенью в песках заходило.
И перебрался в лодчонке к рыбацкой ватаге.
С ромом во фляге, ---
Думал я, может, придется поднесть
Выпить в мою или в ихнюю честь!

Белая отмель верст на пять бежала.
Тут-то в рогожных заслонах ватага стояла.
Сети длиной чуть не с версту на древках
торчали.
Резко чернея на белом песке, просыхали...
Домик с оконцем стоял переносный;
Края далекого сосны,
Из Ярославля, зная, срубом служили.
Смолы сочили...
Визгу: хозяин стоит; он сказал.
Ваше степенство должно быть случайно
попал?

Чай, к пароходу, поди, опоздали,
Заночевали?»
Также сказал, что улов их недурен
И что, хоть месяц был бурен.
Все же у них

Рыбии большах
Много в садке шевелится!
Может, хочу убедиться?

В ближнем яру там садок преобладающий
стоял.

Был поделен он на клетки; я шесть насчитал,
Где по длине их, а где поперек
Сходни лежали из тонких досок.
Каждая клетка была рыбой полна...
Шумно играла в них рыба волна!
Стукался толстый лосось и юлила стерлядка:
В звучно плескавшей воде, посреди
беспорядка.

Чопорно, в белых тесьмах, проходила
севрюга:
«Есть», говорил мне хозяин, у нас и
белуга!»

Сунул он жердь и по дну поводил,
Поднял белугу! Нас дождь окатил,
Чуть показалась она... Мощным плесом
хлестнула,
Точно дельфин кувырнулась и ко дну
юркнула...

Ночь налегла той порой...
Очередной
Сети закидывал; прочие кучей сидели:
Два котелка на треногах кипели;
Яркий огонь по синеющей ночи пылал:
Искры метал...

Разные, пестрые люди в той куче
столпились...

Были такие, что ближе к огню протеснились.
Были такие, что в мрак уходили,
Точно они свои лица таили!
«Что его, думали, к нам сюда носит?
Ежели вдруг да про пашпорты спросит?
Правда, далеки пески! Не впервой уходить!»
Дернула, видно, нелегкая нас посетить!..»

Фляга с ямайским осталась полной при мне:
И повернуть-то ее не пришлось на ремне!
Даже и к слову притти не пришлось никому:
Был я не по сердцу волжской ватаге, —
видать по всему!

Выходим мира много,
Мало сказать, что чужого...

Только отъехавши с версту от стана,
Лодкой спугнув по пути пеликана, —
Он на волнах уносившейся Волги дремал,
Что пеликаны на Волге бывают, того
я не знал,
Издали песню я вдруг услышал хоровую...
В звездную ночь, в голубую,
Цельною шла, не куплет за куплетом,
Тьму рассекала ночную высоким фальцетом
И, широко размахнув для полета великого
крылья,
Вдруг ни на чем обрывалась, с бессилья...

Чудная ночь эту песнь подхватила,
И в отголосках без счета в безбрежную
даль проводила...

НА ВОЛГЕ

Одним из тех великих чудодействий.
Которыми ты, родина, полна,
В стенах песчаных и солончаковых
Струится Волги мутная волна. . .
С запасом жизни, взятым на дорогу
Из недр глубоких северных болот,
По странам жгучим засухи и зноя
Она в себе громады сил несет!
От дебрей муромских и от скитов раскола.
Пройдя вдоль стен святых монастырей.
Она в себе громады сил несет!
Другого бога и других людей.
Здесь, вдоль несков, окраинной пустыни.
Совсем в виду кочевий калмыков,
Перед лицом блуждающих киргизов.
Нитомцев степи и ее ветров . . .

Для полноты и резкости сравнения
С младенчеством культуры бытовой,
Случат машины высшего давления
На пароходах с тонкой нефтяной.
С роскошных палуб, из кают богатых.
В немую ширь пылающих степей,
Несется речь проезжих бородатых,
Проезжих бритых, взрослых и детей.

И между них, чуть вечер наступает,
Совсем свободно, в заповедный час,
Себя еврей к молитве накрывает,
И Магомета раб свершает свой намаз:
И тут же рядом, страшно пораяая,
Своею вздорной, глупой болтовней,
Столичный франт, на службу отъезжая.
Все знает, видел и совсем герой!

Какая пестрота и смесь сопоставлений?!
И та же все единая страна. . .
В чем разрешенье этих всех движений?
Где всем им цель? Дана ли им она?
Дана, конечно! Только не добиться,
Во что здесь жизни суждено сложиться!
Придется ей самой себя создать
И от истории ничем не поживиться,
И от прошедшего образчиков не брать.

ХАНСКИЕ ЖЕНЫ

(Крым)

У старой мечети гребницы стоят,
Что сестры родные, столпились;
Тут ханские жены рядами лежат
И сном непробудным забылись...

И кажется -- точно ревнивая мать,
Над ними природа хлопочет, --
Какую-то думу с них хочет согнать,
Прощенья от них себе хочет.

Растит кинарисы, их сон сторожит,
Плющом, что плащом, одевает,
Велит соловьям здесь на родине быть,
Медвяной росой окропляет.

И времени много с тех пор протекло
Как ханское царство распалось!
И, кажется, все бы забыться могло,
Все... если бы все забывалось...

Их хитростью брали, их силой влекли,
Их стражам гаремов вручали
И тешить властителей ханской земли,
Ласкать, не любя, заставляли...

И помнят могилы... Задумчив их вид...
Великая месть не простится!
Разрушила ханство, остатки крушат
И спящим покойницам снится!

ВЕЧЕР НА ЛЕМАНЕ

Еще окрашены, на запад направляясь,
Шли одинокие густые облака,
И красным столбиком, в глубь озера
спускаясь,
Горел огонь на лодке рыбака.
Еще большой паук, вися на нитке длинной.
В сквозную трещину развалины старинной.
Застигнутый росой, крутясь, не соскользнул;
Еще в сумерки, идя от щели к щели,
В прозрачной темноте растаять не успели
И ветер с ледников прохладой не тянул, —
Раздался звук... Он неся издалека,
Предвестник звезд с погасшего востока,
И, как струна, по воздуху звенел!
Он неся, и за ним, струями набегая,
То резок и глубок, то нежно замирая,
Вослед за звуком звук летел...
Они росли, гармония катилась,
И гром, и грохот, звучащая, неслась,
Давила под собой, — слабея, проносилась
И в тонком звуке чутко замерла...
А по герам высокий образ ночи,
Раскрывши синие, увлажненные очи,

По крыльям призраков торжественно ступал;
Он за бежавшим днем десницу простирал,
И в складках длинного ночного покрывала
Звезда вечерняя стыдливо проступала...

MONTE PINCIO

Сколько белых, красных маргариток
Раслустилось в нынешней ночи!
Воздух чист, от паутинных ниток
Реют в нем какие-то лучи;

Золотятся зеленью деревья,
Пальмы дремлют, зонтики склонив;
Птицы вьют воздушные кочевья
В темных ветках голубых олив;

Все в свету поднялись Апеннины,
Белой пеной блещут их снега;
Ближе Тибр по зелени равнины,
Мутноводный, лижет берега.

Вон, на кактус тихо наседая,
Отдыхать собрались мотыльки,
И блистают, крылья расправляя,
Как небес живые огоньки.

Храм Петра в соседстве Ватикана
Смотрит гордо, придавивши Рим;
Голова церковного Титана
Держит небо черепом своим;

Колизей, облитый красным утром,
Виден мне сквозь розовый туман,
И плывет, играя перламутром,
Облаков летучий караван.

Дряхлый форум с термами Нерона,
Капитолий с храмами богов,
Обелиски, купол Пантеона —
Ожидают будущих веков!

Вон, с корзиной, в пестром балахоне,
Красной шапкой свесившись к земле,
Позабыв о папе и мадонне,
Итальянец едет на осле.

Ветерок мне в платье заползает,
Грудь мою приятно холодит;
Ласков он, так трепетно лобзает,
И, клянусь, я слышу, говорит:

«Милый Рим! Любить тебя не смся,
Я забыть, как будто бы, готов
Травлю братьев в сердце Колизея,
Рабство долгих двадцати веков...»

На разные случаи и смесь

Умерший давно император,
Когда на престол он вступал,
Хотел от него отказаться,
И так он тогда рассуждал:

«Я к жизни придворной не создан!
Хочу отойти поскорей
От тех, с кем я должен встречаться,
Совсем мне немилых людей!»

Уйду! Поселюсь над рекою,
Где, зрея, горит виноград;
С моей молодою женою
Я буду и счастлив и рад;

Я буду, насколько сумею,
Печали людей облегчать,
Природу и дух человека
И смысл бытия изучать!»

И много годов миновало...
Над этой-то самой рекой
Полков проходило немало, —
Их вел император с собой!

И слышались: грохот орудий,
И топот бесчисленных коней,
И вздохи нагруженных грудей
Вконец утомленных людей...

Ты все-таки ли, прежняя греза?
Являлась же ты перед ним,
Когда он был молод и счастлив
И счастья хотел и другим!

КОЛЛЕЖСКИЕ АСЕССОРЫ

В Кутаисе и подле, в окрестностях,
Где в долинах, над склонами скал,
Ждут развалины храмов грузинских,
Кто бы их поскорей описал...

Где ни гипс, ни лопата, ни свегопиль
Не являлись работать на спрос;
Где ползут по развалинам щели,
Вырастает песчаный нанос;

Где в глубоком, святом одиночестве
С куполов и замшившихся плит,
Как аскет, убежавший в пустыню,
Век, двенадцатый счетом, глядит;

Где на кладбищах вовсе неведомых
В завитушках крутятся, письмена
Ждут, чтоб в них знатоки разобрали
Разных, чуждых людей имена, —

Там и русские буквы читаются!
Молчаливо улегшись рядком,
Все коллежские дремлют асессоры
Нерушимым во времени сном.

По соседству с забытой Колхидою,
Где так долго стонал Прометей;
Там, где Ноев ковчег с Арарата
Виден изредка в блеске ночей;

Там, где время, явившись наседкою,
Созидая народов семьи.
Отлагало их в недрах Кавказа,
Отлагало слои на слои;

Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем выросли, —
Там коллежские наши ассессоры
Подходящее место нашли...

Тоже энос! Поставлен загадкою
На гробницах армянских долин
Этот странный, с прибавкою имени,
Не другой, а один только чин!

Говорят, что в указе так значилось:
Кто Кавказ перевалит служить,
Быть тому с той норы дворянином,
Знать, коллежским ассессором быть...

И лежат эти прахи безмолвные
Нарожденных указом дворян...
Так же точно их степь приютила.
Как и спящих грузин и армян!

С тем же самым упорным терпением
Их плывучее время крушит,
И чуть-чуть нагревает их летом,
И чуть-чуть по зиме холодит!

Тот же коршун сидит над гробницами,
Равнодушен к тому: кто в них спит!
Чистит клюв, обагренный добычей,
И за новою зорко следит!

Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей, и указ, и Колхида,
И коллежский ассессор, и Ной...

ПОСЛЕ КАЗНИ В ЖЕНЕВЕ

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил как будто бы сбежавшийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.

Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы допались, ломались кости все...

И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!

Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дергала меня,
«Коль славен наш господь», тоскливо
напевала
И я вторил ей — жалобно звеня!..

Забыт обычай похоронный!
Исчезли факелов ряды
И гарь смолы, и оброненный
Огонь — горящие следы!

Да, факел жизни вечной темой
Сравненья издавна служил!
Как бы объятые эмблемой,
Мы шли за гробом до могил!

Так нужно. думалось. Смиримся!
Жизнь — факел! Сколько их подряд!
Мы все погаснем, все дымимся,
А искры после отгорят.

Теперь другим, новейшим чином
Мы возим к кладбищам людей;
Коптят дешевым керосином
Глухие стекла фонарей;

Дорога в вечность не дымится,
За нами следом нет огня,
И нет нам времени молиться
В немолчной сутолоке дня;

Не нарушаем мы порядка,
Бросая искры по пути,
Хороним быстро, чисто, гладко —
И вслед нам нечего мести!

НА РАЗДЕЛЬНОЙ

(После плесны)

К вокзалу железной дороги
Два поезда сразу идут;
Один — он бежит на чужбину,
Другой же — обратно ведут.

В одном по скамьям повобранцы,
Все юный и целый народ;
Другой на кроватях и койках
Калек бледноликих везет...

И точно как умные люди,
Машины, в работе пыхтя,
У станции ход уменьшают,
Становится ждать, подойдя!

Уставились окна вагонов
Вплотную стекло пред стеклом;
Грядущее виделось в этом,
Былое мелькало в другом...

Замолкла солдатская песня,
Замаялся, иссяк разговор,
И слышалось только шаганье
Тихонько служивших сестер.

В толпе друг на друга глазели:
Сознание чего-то гнело,
Перед кем-то всем было так стыдно
И так через край тяжело!

Лихой командир новобранцев, —
Имел он смекалку с людьми, —
Он гаркнул своим музыкантам:
«Сыграйте ж нам что, чорт возьми!»

И сваялось прочь впечатленье,
И чувствам исход был открыт:
Кто был попрочней — прослезился,
Другие рыдали навзрыд!

И дым выпуская клубами,
Машины пошли вдоль колеи,
Навстречу судьбам увлекая
Толпы безответных людей...

ИЕСИИ ИЗ «УГО.ІРА»

Здесь счастлив я, здесь я свободен, —
Свободен тем, что жизнь прошла,
Что ни к чему теперь не годен,
Что полуслеп, что эта мгла

Своим могуществом жестоким
Меня не в силах сокрушить,
Что светом внутренним, глубоким.
Могу я сам себе светить,

И что из общего крушенья
Всех прежних сил, на склоне лет,
Святое чувство примиренья
Пошло во мне в роскошный цвет...

Не так ли в рухляди, над хламом,
Из перегноя и трухи,
Растут и дышат фимиамом
Цветов красивые верхи?

Пушкой основы правды зыбки,
Пусть все безумно в злобе дня, —
Доброжелательной улыбки
Им не лишить теперь меня!

Я дом воздвиг в стране бездомной,
Решил задачу всех задач, —
Пускай ко мне, в мой угол скромный,
Идут и жертва, и палач. . .

Я вижу, знаю, постигаю,
Что все должны быть прощены;
Я добр — умом, я утешаю
Тем, что в бессилье все равны.

Да, в лоно мощного покоя
Вошел мой тихий «Уголок» —
Возросший в грудях перегноя
Очаровательный цветок. . .

Мой сад оградой обнесен;
В моем доме живут, не споря;
Сад весь в лазури обращен ---
К лицу двух рек и лику моря.

Тут люди кротки и добры,
Живут без скучных пререканий;
Их мысли просты, не хитры,
В них нет нескромных пожеланий.

Весь мир, весь бесконечный мир —
Вне сада, вне его забора;
Там ценность золота — кумир,
Там столько крови и задора!

Здесь очень редко, иногда
Есть в жизни грустные странички:
Погибнет рыбка среди пруда,
В траве найдется тельце птички...

И ты в мой сад не приходи
С твоим озлобленным мышленьем,
Его покоя не буди
Обидным, гордым самомненьем.

У нас нет места для вражды!
Любовь, что этот сад взращала.

Чиста! Ей примеси чужды,
Она теплом не обнищала.

Она, незримая, лежит
В корнях деревьев — тьмой объята,
И ею вся листва шумит
В часы восхода и заката...

Нет! Приходи в мой сад скорей
С твоей отравленной душою;
Близ скромных, искренних людей
Ты приобщишься к их покою.

Отсюда мир, весь мир, изъят
И, полный злобы и задора,
Не смея ринуться в мой сад,
Глядит в него из-за забора...

Воспоминанья вы убить хотите?!
Но — сокрушите помыслом скалу,
Дыханьем груди солнце загасите,
Огнем костра согрейте ночи мглу!..

Воспоминанья — вечные ламнады,
Былой весны чарующий покров,
Страданий духа поздние награды,
Последний след когда-то милых снов.

На склоне лет живешь, годами согнут,
Одна лишь память светит на пути...
Но, если вдруг воспоминанья дрогнут, —
Погаснет все, и некуда идти...

Копилка жизни! Мелкие монеты!
Когда других монет не отыскать —
Они пригодны! Целые банкеты
Воспоминанья могут задавать.

Беда, беда, когда среди них найдется
Стыд иль пятно в свершившемся былом!
Оно к банкету скрытно проберется
И тенью Банко сядет за столом.

И порой хотелось бы всех весний весны
И разноцветных искр чуть выпавшего снега,
Мягущейся толпы, могильной тишины,
И тут же светлых снов спокойного полета!

Хотелось бы, чтоб степь вокруг меня легла,
Чтоб было все мертво и царственно
молчанье,

Но чтоб в степи река могучая текла,
И в зарослях ее звучало трепетанье.

Ущелый Терек и берегов Днепра,
Нарижской толпы, безлюдья Иордана,
Альпийских ледников живого серебра,
И римских батакомб, и дилей Гулистана.

Возможно это все, но каждое в свой срок
На протяжениях великих расстояний,
И надо ожидать, и надо, чтоб ты мог
Направить к ним пути своих земных
скиганий,

Тогда, как помыслов великим волшебством,
И полной мощностью всех сил воображенья
Ты можешь все иметь в желании одном,
Здесь, подле, вокруг себя, сейчас, без
промедленья!

Вот — мои воспоминанья:
Прядь волос, письмо, платок,
Два обрывка вышиванья,
Два кольца и образок...

Но — за теменью былого —
В именах я с толку сбит.
Кто они? Не дать ли слова,
Что и я, как те, забыт!

В этом — времени учтивость,
Завершение всему,
Золотая справедливость:
Ничего и никому!

И вот, сижу в саду моем тенистом
И пред собой могу воспроизвестъ,
Как это будет в час, когда умру я,
Как дрогнет все, что пред глазами есть.

Как полетят повсюду извещенья,
Как потеряет голову семья,
Как соберутся, вступят в разговоры,
И как при них безмолвен буду я.

Живые связи разлетятся прахом,
Возникнут сразу всякие права,
Начнется давность, народятся сроки,
Среди сирот появится вдова.

В тепло семьи дохнет мороз закона, —
Быть может, сам я вызвал тот закон;
Не должен он, не может ошибаться,
Но и любить — никак не может он.

И мне никто, никто не поручится, —
Я видел сам, и не один пример:
Как между близких, самых близких кровных,
Вдруг проступал созревший лицемер...

И это все, что здесь с такой любовью,
С таким трудом ушел я насадить,
Ему, спокойной, смелою рукою —
Призвав закон — удастся сокрушить...

Шестидесятый раз снег предо мною тает
И тихо льет тепло с лазурной вышины,
И, если память мне вконец не изменяет,
Я в детстве раза три не замечал весны, —

Не замечал того, как мне дышалось чудно,
Как мчались журавли и как цвела сирень...
Десятки лет прошли; их сосчитать не трудно,
Когда бы сосчитать не возбраняла лень!

Не велико число! Но собранный годами
Скарб жизни так велик, так много груза
в нем,
Что, если бы грузить — пришлось бы
кораблями,
Водю отправлять, а не иным путем...

Противоречия красот и безобразий,
Громадный хлам скорбей, сомнений и обид,
Воспоминания о прелестях Аспазий,
Труды Сизифовы и муки Данаид,

Мученья Танта́ла, обманы сына, брата,
Порывы глупостей, подряд или вразброд;
В одних я шествовал на подвиг Герострата,
В других примером мне являлся Дон-
Кихот...

Шестидесятый раз снег предо мною тает...
Лазурна высь небес, в полях ручьи журчат...
Как много жизнь людей всего, всего вмещает,
И что же за число в две цифры —
шестьдесят!..

Старый дуб листвы своей лишился
 И стоит умерший над межою;
 Только ветви кажутся плечам,
 А вершина мнится головою.

Приютил он, будучи при жизни,
 Сиротинку-семя, что летало,
 Дал ему в корнях найти местечко,
 И оно тихонько задремало.

И всползла по дубу павилика,
 Мертвый остов зеленью одела,
 Разубрала листьями, цветами,
 Придала как будто облик тела!

Ветерок несется над межою;
 Павилика венчики качает. . .
 Старый дуб в обличьи забытом
 Оживает, право — оживает!

Прив свете трепетном лампы в час почной
Идут умершие беседовать со мной,
И в скромном обществе мне близких и
родных
Мой дух смиряется, и сон мой будет тих.

Ты, милое дитя, ты, прелесть, дочь моя,
Когда покончу срок земного бытия,
Ты в час сомнения, печали иль любви
Меня, загробного, к совету призови!

И я приду тогда, неслышим и незрим!
Я буду пестуном внимательным твоим;
Прохладой тихою тебя я опажу,
Нетленным оком я в тайник души взгляну,

Я слово ласковое шепотом скажу,
Стези неведомые сердцу укажу
И брату моему, недремлющему Сну,
Скажу: «Смени меня, а я — опять усну!..»

Если б все, что упадает
Серебра с луны,
Все, что золота роняет
Солнце с вышины —

Ей снести... Она б сказала:
«Милый мой пинт,
Ты того мне дай металла,
Что в земле лежит!»

Нет, никогда никто всей правды не узнает
Позора твоего земного бытия.
Толпа свидетелей с годами вымирает
И не по воле, нет, случайно, знаю я.

Оправдывать тебя — никто мне не поверит;
Меня сообщником, пожалуй, назовут;
Все люди про запас, па случай, лицемерят,
Чтоб обелить себя, виновных выдают!

Но, если глянет час последних показаний,
Когда все брэнное торжественно сожгут
Пожары всех миров и всех их сочетаний, —
Людские совести проступят и взойдут,

И зацветут они не дерзко-торопливо,
Не в диком ужасе, всей сутью трепеща;
Нет, совести людей проступят молчаливо,
В глухом безмолвии лишь обликом крича!

Тогда увидятся такие вырожденья,
Что ты — в единственной, большой вине
своей —
Проглянешь, в затхлости посмертного
цветенья,
Чистейшей лилией, красавицей полей.

Ты не гонись за рифмой своеправной
И за поэзией. — неелепости оне;
Я их сравню с княгиней Ярославной,
С зарею плачущей на каменной стене.

Ведь умер князь, и стен не существует,
Да и княгини нет уже давным-давно;
А все как будто, бедная, тоскует,
И от нее не все, не все схоронено.

Но это вздор, обманное создание!
Слова — не плоть. . . Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье,
Как нет в них также сил на то, чтоб
убивать. . .

Нельзя, нельзя. . . Однако преисправно
Заря затешилась; смотрю, стоит стена;
На ней, я вижу, ходит Ярославна
И плачет, бедная, без устали она.

Стои ее! Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать!
К чему они? Чтобы людей морочить
И нас, то здесь — то там, тревожить и смущать!

Смерть песне, смерть! Пускай не существует! . .
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне. . .
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене. . .

Кому же хочется в потомство перейти
В обличье старика! Следами разрушений
Помечены в лице особые пути
Излишеств и нужды, довольства и лишений.
Я стар, я некрасив... Да, да! Но боже мой,
Ведь это же не я!.. Нет, в обличье особом,
Несокрушаемом ни временем, ни гробом,
Который некогда я признавал за свой,
Хотелось бы мне жить на памяти людской!
И кто ж бы не хотел? Особыми чертами
Мы обрисуемся на множество ладов —
В рассказах тех детей, что будут стариками,
В записках, в очерках, за длинный ряд годов.

И ты, красавица, не названная мною.
Я много, много раз писал твои черты, ---
Когда последний час ударит над землею,
С умерших сдвинутся и плиты, и креслы --
Ты, как и я, проявишься неожиданно,
Но не старухою, а на заре годов...
Нелепым было бы и бесконечно странно --
Селить в загробный мир старух и стариков.

На коне брабантском плотном
И в малиновой венгерке —
Часто видел я девицу
У отца на табакерке.

С пестрой свитой на охоте
Чудной маленькой фигурой
Рисовалась девица
На эмали миньятюрой.

Табакерку заводили
И пружинку нажимали,
И охотники трубили,
И собак со свор спускали.

Лес был жив на табакерке;
А девица все скакала
И меня бежать за нею
Чудным взглядом приглашала.

И готов я был умчаться
Вслед за нею — полон силы —
Хоть по небу, хоть по морю,
Хоть сквозь вечный мрак могилы. . .

А теперь вот здесь, недавно, —
Полстолетья миновало, —

Я опять девицу видел,
Как в лесу она скакала.

И за ней, как тощий призрак,
С котелком над головою
Истязался на лошадке
Барин, свесясь над лукою.

Я, девицу увидавши,
Вслед ей бешено рванулся,
Вспыхнув злобою и мезтью...
Но, едва вскочил, запнулся...

Да, не шутка полстолетья...
Есть всему границы, мерки...
Пусть их скачут котелочки
За девицей с табакерки!..

Нет, верба́, ты опоздала,
Только к марту цвет дала, —
Знай, моя душа сызма́ла,
Впечатлительней была!

Где же с ней итти в сравненье!
Не спросясь календаря,
Я весны возникновенье
Ясно слышу с января!

День подрос и стал длиннее...
Лед скололи в кабаны...
Снег глубок, но стал рыхлее...
Плачут крыши с вышины...

Пишут к праздникам награды...
Нет, верба́, поверь мне, нет:
Вешним дням мы раньше рады,
Чем пускаешь ты свой цвет!

Помню: как-то раз мне снился
Генрих Гейне на балу;
Разливалось веселье
По всему его челу...

Говорил он даме: «Дама,
Я прошу на польку вас!
Бал блестящ! Но вы так бледны,
Взгляд ваш будто бы погас!

Ах, простите! — я припомнил:
Двадцать лет, как вы мертвы!
Обращусь к соседке вашей:
Вальс со мной идете ль вы?

Боже мой! И тут ошибка!
Десять лет тому назад,
Помню, вас мы хоронили;
Устарел на вас наряд.

Ну, так к третьей... На мазурку! —
Ясно вам: кто я такой?» —
«Как же, вы — вы Генрих Гейне:
Вы скончались вслед за мной...»

И неслись они по зале...
Шумен, весел был салон...
Как, однако, милы пляски
Перешедших Рубикон!..

Я видел Рим, Париж и Лондон,
Везувий мне в глаза дымил,
Я вдоль по тундре Безземельной —
Везом оленями — скользил.

Я слышал много водопадов
Различных сил и вышины,
Рев медных труб в калмыцкой степи
В Байдарах — тихий звук зурны.

Я посетил в лесах Урала
Потемки страшных рудников,
Бродил вдоль щелей и провалов
По льдам швейцарских ледников.

Я резал трупы с анатомом,
В науках много знал светил,
Я испытал в морях крушение,
Я дни в вертепах проводил...

Я знал нужду, я знал довольство —
Глубоко падал и вставал;
Я богу пламенно молился,
Я бога страстно отрицал.

Я знал нужду, я знал довольство —
Любил, страдал, взрастил семью

И — не скажу, чтобы без страха —
Порой встречал и смерть свою.

Я видел варварские казни,
Я видел ужасы труда;
Я никого не ненавидел,
Но презирал — почти всегда.

И вот теперь, на склоне жизни,
Могу порой совет подать:
Как меньше пользоваться счастьем,
Чтоб легче и быстрее страдать.

Здесь из бревенчатого сруба,
В песках и соснах «Уголка»,
Где мирно так шумит Нарова,
Задача честным быть легка.

Ничто, ничто мне не указка, —
Я не ношу вериг земли...
С моих высоких кругозоров
Все принижается вдали.

Раз один из фараонов
Скромный дом мой посетил;
Он, входя, косяк у двери
Длинным схентом зацепил.

Бесподобная фигура!
Весь величественно-груб,
Поражал он ярким цветом
Красной краски страстных губ.

Хрустнул стул, чуть он уселся;
Разговор у нас пошел
На различные предметы:
Как он с Гиксом войны вел.

Как он взыскан был богами.
Как он миловал, казнил,
Как плотинами хотел он
Укротить священный Нил,

Как любил он страстно женщин...
Чтоб свободней говорить,
Попросил меня он двери
Поплотнее затворить.

И пошел он, и пошел он...
Ощущаю в сердце страх

Повторять все то, что слышал
При затворенных дверях.

Удивительное сходство
С нами!.. Та же все канва:
Из времен «Декамерона»
И деянья, и слова!

Сказочку слушаю я,
Сказочка — радость моя!
Сколько уж, сколько веков
Тканями этих же слов
Ночи в таинственный час
Детских сомкнулося глаз!
Жизнь наша, сказки быстрее,
Нас обращает в детей.

Слышу о злом колдуне...
Вот он — в лесу при огне...
Чудная фея добра
Блещет в лучах серебра...
Множество замыслов злых, —
Фея разрушила их...
И колдуна больше нет!
Только и в ней меркнет свет...

Лес, что куда-то пропал.
Вдруг очарованный, встал...
Вот и колдун на печи...
Сказка! Молчи же, молчи!

Сказочку слушаю я,
Сказочка — радость моя!
Жизнь наша, сказки быстрее,
Нас обращает в детей...

И припан льда все море обрамляют;
Вдали видны буран и толчея,
Но громы их ко мне не долетают,
И ясно слышу я, что говорит хвоя.

Та речь важна, та речь однообразна, —
Идва колеблет длинный ряд стволов,
В своем теченье величава, связна
И даже явственна, хоть говорит без слов.

В ней не заметно знаков препинаний,
В ней все одно, великое одно!
В живых струях бессчетных колебаний
Поет гигантское, как мир, веретено.

И убаюкан лаской и любовью,
Не слыша стонов плачущей волны,
И, как дитя, склоняюсь к изголовью,
Чтоб отойти туда, где обитают сны.

Совсем примерная семья!
Порядок, мир... Чем не отрада?
Но отчего вдруг вспомнил я
Страничку из судеб Царьграда:

По лику мертвого царя
Гуляют кистью богомазы.
И сурик, на щеках горя,
Румянит крупные алмазы;

Наведена улыбка губ,
Заштукатурены морщины...
А все же это — только труп
И лицевая часть картины!

Как ты чиста в покое ясном,
В тебе понятия даже нет
О лживом, злобном или страстном,
Чем так тревожен белый свет!

Как ты глупа! Какой равниной
Раскинут мир души твоей,
На ней вершинки — ни единой,
И нет ни звуков, ни теней...

Вы побелели, кладбища граниты;
Ночная оттепель теплом дохнула в вас;
Как пудрой белою, вы инеем покрыты
И белым мрамором глядите в этот час.

Другая пудра и другие силы
Под мрамор красят кудри на челе...
Уж не признать ли теплыми могилы
В сравненье с жизнью в холоде и мгле

Стою я с ужасом у гроба!
Безумье многих лет навек
В нем успокоилось, и можно
Сказать опять: «Се человек!»

Сын подле гроба! Сколько сходства
В лице! Читаю ясно в нем:
«Скорей бы кончить с погребеньем
И пир задать, проветрив дом!..»

Пара гнедых», или «Ночи безумные»,
Яркие песни полночных часов, —
Песни такие ж, как мы, неразумные,
С трепетом, с дрожью больных голосов!..

Что-то в вас есть бесконечно хорошее...
В вас отлетевшее счастье пост...
Словно весна подойдет под порошею,
В сердце — истома, в душе — ледоход!

Тайные встречи и оргии шумные,
Грусть... неудача... пропавшие дни...
Любим мы, любим вас, песни безумные:
Ваши безумия нашим сродни!

Я знаю кладбище. С годами
Остатки камней и крестов
Стоят застывшими волнами
В подушках мягких, сочных мхов.

Они — как полны — безымянны,
И только изредка, порой,
Возникнет новая могила
Поименованной волной...

Читаешь имя... как-то странно!
В нем просьба будто бы слышна.
Борьба последняя с забвеньем.
Но... прекратится и она!

Здравствуй, товарищ! Подай-ка мне руку.
Что? Ты отдернул? Кажись, осерчал?
Глянь на мою. — нет ей места в гостиной;
Я, брат, недаром кустарник сажал.

Старый товарищ! Печальная встреча!..
Как искалечен ты жизнью, бедняк!
Ну-ка, пожалуй в мой дом, горемыка!..
Что? Не желаешь? Не любо! Чудак!

Вышьем с тобой... Как? И нить ты не
хочешь?

Просишь на вышивку на-руки дать;
Темное чувство в тебе шевельнулось?..
Что за причина, чтоб мне отказать?

Гордость? Стыдливость? Сомнение? Злоба?
Коль потолкуем — причину найду!..
Да не упрямяся, мы юность помянем,
Дочку увидишь мою... — Не пойду».

И отошел он по пыльной дороге,
Денег он взял, не сказав ничего!..
Разных два мира в нас двух повстречались.
Камнем бы бросить... Кому и в кого?

Меня в загробном мире знают,
Там много близких, там я — свой!
Они, я знаю, ожидают...
А ты и здесь, и там — чужой!

«Ему нет места между нами, —
Вольны умершие сказать, —
Мы все, да, все, живем сердцами.
А он? Ему где сердце взять?»

Ему здесь будет несподручно,
Он слишком дерзок и умен;
Жить в том, что осмелел он, — скучно,
Он не захочет быть смешон.

Всё им поруганное — видеть,
Что отрицал он — осязать,
Без права лгать и ненавидеть
В необходимости — молчать!»

Ты предвкуси такую пытку:
Жить вне злословья, вне витийств!
Там не подрежет Парка нитку,
Не может быть самоубийств!

В несправимости былого,
Под гнетом страшного ярма.
Ты, бедный, не промолвишь слова
И там — не здесь — сойдешь с ума!

Я помню ужас смерти этой...
Сильна была любовь моя...
Как я к усопшей, к неотпетой,
Ходил в те дни — не помню я.
Но помню страстное желанье
Всё, что имел тогда, — отдать,
Чтоб дорогое очертанье
В нетленном камне изваять,
В путинах ада или рая
Ее я выследить хотел...
Я заболел! Весь смысл терян.
Мой дикий бред — перегорел.
И что ж? Где вы, тех дней миражи?
Прошли года — мой дух живой,
Не совершив у смерти кражи,
Забыл о пытке огневой.
И вот — портрет с ее чертами!...
Но холодна моя душа...
Гляжу спокойными очами
И говорю: «Как хороша!...»

Лес густой; за лесом — праздник:
Здесьних местных поселян:
Клики, гул, обрывки речи,
Тучи пыли — что туман.

Видно издали — мелькают
Люди... Не понять бы нам,
Если бы не знать причины:
Пляска или драка там?

Те же самые сомненья
Были б в мыслях рождены,
Если б издали, случайно
Глянуть в жизнь со стороны.

Праздник жизни, бойня жизни.
Клики, говор и туман...
Непонятное верченье
Краткосрочных поселян.

Славный снег! Какая роскошь! . .
Все, что осень обожгла,
Обломала, сокрушила.
Ткань густая облегла.

Эти светлые покровы
Шиты в мерку, в самый раз,
И чаруют белизною
К серой мгле привыкший глаз.

Неспокойный, резкий ветер,
Он — закройщик и портной —
Срезал все, что было лишним
Свежл на землю долой. . .

Кренко, плотно сшил морозом.
Искр наваял без числа. . .
Платье было б без износа,
Если б не было тепла, —

Если б оттепель порою,
Разрыхляя ткань снегов,
Как на зло, водою талой
Не распарывала швов. . .

Как на свечку мотыльки стремятся
И, пожегши крылья, умирают, —
Так его бесчувственную душу
Тени мертвых, молча, окружают.

Нет улик! А сам он так спокоен;
С юных лет в довольстве очерствелый,
Смело шел он по широкой жизни
И идег, красиво поседелый.

Он срывал одни лишь только розы,
Цвет срывал, шипов не ощущая;
В чудный панцырь прав своих закован —
Сеял он страданья, не страдая.

О господь! Да где же справедливость?
Божья месть! Тебя не обретают!
Смолкли жертвы, их совсем не слышно,
Но зато — свидетели рыдают. . .

Тьма непроглядна. Море близко, —
Молчит... Такая тишина,
Что комаров полночных песня
И та мне явственно слышна...

Другая ночь, и то же море
Нещадно бьет вдоль берегов;
И тьма полна таких степеней,
Что я своих не слышу слов.

А я все тот же!.. Не завишу
От этих шуток бытия, —
Меня влечет, стезей особой,
Совсем особая ладья.

Ей все равно: что тишь, что буря...
Друг! Полюбуйся той ладьей,
Прочти названье: «Все проходит!»
Ладья не купишь, — сам построй!

Погасло в них былое,
Час разлуки наступал;
И, приняв решенье злое,
Наконец, он ей сказал:

«Поднеси мне эту чашу!
В ней я вылью смерть свою!
Этим связь разрушу нашу —
Дам свободу бытию!»

Если это не угодно
Странной гордости твоей,
Волю вырази свободно.
Кинь ты чашу и разбей!»

Молча, медленно, высоко
Подняла ее она
И — быстрее мгновенья ока
Осушила всю, до дна...

Мой стих — он не лишен значенья
Те люди, что теперь живут,
Себе родные отраженья
Увидят в нем, когда прочтут.

Да, в этих очерках правдивых
Не скрыто мною ничего!
Черты в них — больше некрасивых,
А краски — серых большинство!

Но, если мы бесцветны стали. —
В одном нельзя нам отказать:
Мы — раздробленные скрижали,
Хоть иногда, не прочь читать!

Как бы ауканье лесное
Иль эха чуткого ответ,
Порой доходит к нам былое...
Дойдет ли к внукам? Да иль нет?!

Уолно! Прислушайся к песне...
Может быть, в душу твою
Ласковых звуков порядок
Мирную пветит струю.

Может быть, если смиришься,
Будет покой тебе дан.
Если вышучивать бросишь
Жгучесть печалей и ран.

Мало ль, что есть... Нерушима
Общая людям стезя:
В жизни людской — как и в песне —
Выкинуть слова нельзя!

Не померяться ль мне с морем?
Вволю, велясть души?
Санки крепки, очи зорки,
Кони хороши...

И несчитанные версты
Понеслись назад,
Где-то, мнится, берег дальний
Различает взгляд.

Кони шибче, веселее,
Мчат во весь опор...
Море места прибавляет,
Шире кругозор.

Дальше! Кони утомились.
Надо понукать...
Море будто шире стало,
Раздалось опять...

А несчитанные версты
Сзади собрались
И кричат, смеясь, вдогонку:
«Эй, остановись!»

Стали кони. . Нет в них силы,
Клонит морды в снег...

Ну, пускай другой, кто хочет,
Продолжает бег!

И не в том теперь, чтоб дальше .
Всюду — ширь да гладь!
Вон как вдруг занесло...
Будем умирать!

Что им стиха размерный звон?
От них смешки и отрицанье...
Но прозвучит для них и он
И грозно вынудит признанье.

Как? Неизвестно! Может быть,
Услышат в некий час, ревнуя,
Как стих, просящий полюбить,
Смутит их жен для поцелуя...

Быть может, в тягости труда
Поймут, как песня ободряет.
Иль в тяжком горе — как тогда
Родная песня ублажает?

Но уж наверное для них,
Совсем не требуя их мненья,
Заголосит надгробный стих,
И это будет — без сомненья!

Не храни ты ни бронзы, ни кинг.
Ничего, что из прошлого ценно.
Все, поверь мне, возьмет старьевщик.
Все пойдет по рукам — несомненно.

Те почтенные люди прошли,
Что касались былого со страхом.
Те, что письма отцов берегли,
Не пускали их памятей прахом.

Где старинные эти дома —
С их седыми как лушь стариками?
Деды где? Где их опыт ума.
Где слова их — не шутки словами?

Весь источен сердец наших мир!
В чем желать, в чем искать обновленья?
И жиреет могильный вампир
Урожаем годов оскуденья...

Чтоб этим их поднять, и жизни цель
поставить.
И дать задачу им по силам, по плечу,
Чтоб добрый настырь мог прийти и мирно
правлять
И на торгующих не прибегать к бичу...

Глядишь открытыми глазами
Величью полночи в лицо,
И вдруг с реки, плъ за кустами
Раздастся крепкое слово!

Возможна ль жизнь без нарушений?
Но надо выдержать уметь
И неприглядность дерзновений
Скорей как можно одолеть.

Они — везде, хоть их не просят,
Да и предвидеть их нельзя...
Так пусть же ветры их разносят —
Им, как и нам — своя стезя!

Меня здесь нет. Я там, далеко.
Там, где-то, в днях пережитых!
За далью их — не видит око
И нет свидетелей живых.

Я там, весь там, за серой мглой!
Здесь нет меня; другим я стал.
Забыв, где был я сам собою.
Где быть собою перестал...

Я плыву на лодке. Парус
Режет мачтой небеса;
Лебединой белой грудью
Он под ветром налился.

Море тихо, волны кротки
И кругом — везде лазурь!
Не бывает в сердце горя,
Не бывает в небе бурь!..

Я плыву в сияньи солнца.
Чем не рыцарь Лоэнгрин?
Я совсем не стар, я молод.
И плыву я не один...

Ты со мною, жизнь былая!
Ты осталась молода
И красавицей, как прежде,
Снизойшла ко мне сюда.

Вместе мы плывем с тобою.
Белый парус тянет шас;
Я припал к тебе безмолвный...
Светлый час, блаженный час!..

По плечам твоим высоким
Солнце блеск разлило свой,

И знакомые мне косы
Льнут к волнам своей волной.

Уст дыханье ароматно!
Грудь, как прежде, высока...
Снизойди к докучным ласкам
И к мольбам старика!

Что? Ты плачешь?... Иль пугает
Острый блеск моих седин?
Юность! О, прости, голубка...
Я — не рыцарь Лоэнгрин!

Здесь все мое! — Высь небосклона
И солнца лик, и глубь земли,
Призыв молитвенного звона.
И эти в море корабли;

Мои — все села над равниной,
Стога, возникшие окрест,
Река с болтливою стремниной
И все бывшее этих мест...

Здесь для меня живут и ходят...
Мне — свежесть волн, мне — жар огня,
Туманы даже, те, что бродят, —
И те мои и для меня!

И в этом чудном обладанье,
Как инок на исходе дней,
Пишу последнее сказанье,
Еще одно, других ясней!

Пускай живое песнопенье
В родной мне русский мир идет,
Где можно — даст успокоенье
И никогда, ни в чем не лжет.

Что тут писано, писал совсем не я, —
Оставляя за собою жизнь моя;
Это — куколки от бабочек былых,
След заметный превращений временных.

А души моей — что бабочки искать!
Хорошо теперь ей где-нибудь порхать,
Никогда ее, нигде не обрести,
Потому что в ней, беспутной, нет пути. . .

СТИХОТВОРЕНИЯ
1899 — 1904 годов,
НЕ ВОШЕДШИЕ
В ОТДЕЛЬНЫЕ КНИГИ

БОГИНЯ ТОСКИ

Своей спокойною, вечернею волною
К моим ногам ласкается река,
И, мнится мне, богиней над водою
Ко мне из волн является Тоска...

В ее очах и ласковых, и скромных
Нет светлых звезд, нет яркого огня,
И слышу я: «Я доля душ бездомных.
Богиня всех увидевших меня!»

Люблю тебя! Ведь ты со мной сроднился.
Кто ж из людей остался мне чужим?
Богиня я! Кто предо мной склонился.
Тому нельзя склониться пред другим.

Я всех веду различными путями;
У всех людей я та же, да не та!
Властна дарить особыми страстями,
Я тоже мощь, я тоже красота!

Я не ищу других богинь величья,
И мне чужда их гордая семья,
Мне не дано особого обличья,
Не дождалась особых храмов я!

Совсем не так, как у другой богини,
Моей сестры, родившейся в волнах,
С огнем страстей, не знающих святыни,
И с поволокой в млеющих глазах.

Но я не меньше, чем она, красива,
Умею я ласкать и обнимать.
Я не хитра, я вовсе не снислива
И, как волна, способна укачать!

Твоя всегда без лжи и без сомненья.
Тебе везде, и в день, и в ночь, верна.
Твой, твой мне любви возжеленья!..
Да, я тебе богиня и жена!

Возьми меня, возьми на все лобзанья,
Я так прекрасна в складках темноты,
Я научу любить свои страданья.
Умчусь с тобой в живых путях мечты!

Люби меня и поклонись богини!
Все боги, все, поблекли и прошли,
А я живу и властвую поныне,
И — самоцвет, я — адамант земли!

Возьми меня! возьми меня скорее!
Во мне очаг особенных страстей!
Не ведал мир, кто б был меня сильнее,
И смерть отрадна на груди моей!..

Спускаю я над нами покрывало...
Я льну к тебе просящею волной!

Лишь потому, что ночь опять настала,
Венчаюсь я, мой избранный, с тобой!

Нам — смерть зари, нам — ночи нарождение,
Нам — тихих кладбищ бледные огни,
Нам — привидений смутное хождение,
Нам — в тьме ночной светящиеся пни.

Ты не дерзаешь? Ну, так я дерзаю!
К тебе сама на ложе нисхожу,
Тебя беру я, грею и ласкаю...
О, ты узнаешь, как я извожу!

ЦЫГАНКА

Потрясая бубенцами,
Позументами блестя,
Ты танцуешь перед нами,
Стени вольное дитя!

Грудь — подвижна, плечи — живы!
Взгляды жгучих черных глаз —
Это дерзкие призывы
К страсти каждого из нас...

Но под пологом палатки,
В сокровенный час ночной,
Кто ж отважится на схватки
С непокорною тобой?

Знаю кто! Вот там в сторонке,
Руку сунув за кафтан,
Смотрит вслед красивой жемке
Темнобронзовый цыган.

Этот... Он отдернет полог
Мускулистою рукой...
Будет сон ваш тих и долог
Под палаткою родной...

Как смеешься ты над нами,
Стени вольное дитя,
Потрясая бубенцами,
Позументам блестя!

Смотрит тучка в вешний лед,
Лед ее сиянье пьет,
Тает тучка в небесах,
Тает льдина на волнах.

Облик тающий вдвойне,
И на небе, и в волне, —
Это я и это ты,
Оба — таянье мечты.

У пала молния в ручей,
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия...
Другого не было пути...
И я прощу, и ты прости.

“ **Т**ы поклянись, — она его просила, —
И верен будь тому, что изречешь,
Что этой песни, — в пей большая сила, —
Ты никому, как мне, не заноешь.

Не запоешь, когда ко мне на смену
Придет другая с новой красотой.
И я утрачу прелести и цену
Перед твоей окованной мечтой.

Другие песни пой, коль запоются.
Кому и где и как — мне все равно.
Но лишь бы этой песне вновь проснуться
И повториться не было дано.

С меня писал ты, я тебя ласкала.
Я, я низала нити чудных снов,
Я с нею вместе чувством трепетала...
Спускала с плеч последний свой покров.

Та песнь моя! Вся, вся без исключения...
Он клятву дал... и, наконец, запел,
Когда в час смерти, в облике виденья
Ее он вновь пришедшею узрел.

РЕЦЕПТ МЕФИСТОФЕЛЯ

Я яд дурмана панушу
В сердца людей, пускай их точит!
В пеньку веревки мысль вмещу
Для тех, кто вешаться захочет!

Под шум веселья и пиров,
Под звон бокалов, треск литавров,
Я в сфере чувства и умов
Вновь воскрешу ихтиозавров!

У передохнувших химер
Займу образчики творенья
Каких-то новых, диких вер
Непчатого откровенья!

Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья рассую,
Дав заключенье до начала!

Сведу, помолвлю, породню
Окаменелость и идею,
И праздник смерти учиню,
Включив его в Четьи-Минсю.

Последним льдом своим спирая
Судов высокие бока,
В тепле весны шния и тая,
Готова тронуться река.

Она сбежит и в степь и в горы
Под легкой сенью облаков,
По дну ее пойдут узоры
Их разноцветных парусов.

Река сберет в свои алмазы
С лугов сбежавшие снега,
Она запомнит те рассказы,
Что ей нашепчут берега!

Она снесет, поток свободный,
К равнине моря голубой,
И труп гуляки, труп холодный,
И ландыш, брошенный дитей.

ШАРМАНЩИК

Воздуху! воздуху! я задыхаюсь...
Эта шарманка, что уши пилит,
Мучает, душит... я мыслью сбиваюсь...
Глупый шарманщик в окошко глядит!

Эту забытую песню, когда-то
Слушал я иначе, слушал душой,
Слушал тайком... скрыл от друга, от брата!
Думал: не знает никто под луной...

Вдруг ты воспрянула, заговорила!
Полная фальши, скачками звучишь!
Время ли, что ли, тебя потрошило?
Нот нехватает — а все говоришь!

Кто-то подслушал тогда! Ударенья
Резко сдаются на тех же местах,
Те, что когда-то в чаду вдохновенья
Вдруг замирали на милых устах!

Злая шарманка! ты бесчеловечна...
Точно напомнить явилась она
И доказать, что, как блеск, скорогечна
Сядя любви, что она не вечна!

Удержу вет! все пилит, все хохочет,
Песня безумною стала сама,
Мысль, погасая, проклятья бормочет...
Не замолчишь ты. --- сойду я с ума.

Слышу, что тянет, как прежде, на мщенье...
Но ведь то время погасло давно,
Нет тех людей... нет ее!... навожденье!...
Главный шарманщик все смотрит в окно!

ПОСЛЕ КАЗНИ В ЖЕНЕВЕ

Тяжелый день... ты уходил так вяло...
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил своею тяжестью народ,
И солнце на топор сияло.

Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с руки палач,
И эшафот поспешно разобрали;
Пришли пожарные и площадь поливали

Тяжелый день... ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе.
Меня корбило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все..

Я все вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной,
К монахине какой-то исхудалой
На балалайку вдруг попал живой!

Старуха черная гнусила и хрипела,
Кослявым пальцем дергала меня,
«В крови горит огонь желанья» — пела,
И я вторил ей — жалобно звеня!..

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ РЕДАКТОРА

В основу издания положены: 1) для стихотворений, не вошедших в отдельные книги К. Случевского, тексты журнальных публикаций, расположенные в последовательности их появления в свет; 2) для остальных текстов — «Сочинения К. К. Случевского в шести томах», СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1898, томы I—III, и К. Случевский, «Песни из Уголка», СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1902; 3) отдел «Ранние редакции» — по тексту Стихотворений К. Случевского, кн. 1—2 (1880—1881), за исключением стих. «Последним льдом своим спирая», приводимого в редакции «Отеч. записок», 1860.

Лух а етегна (лат.) вечный свет

Приди! *Шаризма* поэма Байрона.

На прогулке. *Амен* (лат.) аминь.

Мефистофель, незримый из
рауте. *Jockey-Club, Hang-ing* — названия
духов.

М е ф и с т о ф е л ь в своем музее. *Астарот* — финикийское божество. *Кабирь* — древнегреческие божества, культ которых пользовался большой популярностью в древнем мире и сосредоточен был на острове Самотракии (или Самофракии). *Кардинал де Ред* (1404—1470) — маршал Франции, знаменитый своими преступлениями. *La Bellezza* (итал.) — красота, красавица, прекрасная.

М о н т е Р и н с и о (итал. — произносится: монте-ринчо) — часть Рима, преимущественно занятая садами, излюбленное место прогулок.

У м е р ш и й д а в н о и м п е р а т о р. В стихотворении имеется в виду русский император Александр I. Река, о которой идет речь, — Рейн.

К о л л е ж с к и е а с с е с с о р ы. *Быть тому дворянином...* — Служба на Кавказе, в том числе и гражданская, давала преимущества в смысле получения дворянства.

Н а Р а з д е л ь н о й. *Раздельная* — узловая станция железнодорожной линии Одесса — Казатин. *Плевна* — крепость, во время осады которой русскими войсками в русско-турецкую войну 1877 г. произошел ряд кровопролитных сражений. В первоначальном виде подзаголовков стихо-

творения быт: «После первой Илевны» - название, которым обозначается сражение под стенами Илевны 20 июля 1877 г.

«Вспомнишь ли вы убить хоти-те?!» *Банко* — персонаж трагедии Шекспира «Макбет»: темь Банко являлась его убийце Макбету.

Порой хотелось бы всех веяни и весны. *Гулистан* (иранск.) — сад роз, название знаменитого произведения иранского поэта Саади.

Да, да! всю жизнь мою я жадно собирал. *Гарнион* — тип скупого, герой комедии Мольера «Скупой».

«Последним льдом своим спирая» — первоначальная редакция стихотворения «На реке тесной» (см. стр. 131).

СОДЕРЖАНИЕ

К. Случевский. Вступительная статья А. В. Федорова	3
---	---

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОТДЕЛЬНЫЕ КНИГИ

В мороз	41
На кладбище	42
«Ходит ветер избочась»	44
Мои желанья	46
Он не любил еще	50
«Ночь. Темно. Глаза открыты»	52

СТИХОТВОРЕНИЯ, ВОШЕДШИЕ В ИЗДАНИЕ 1898 ГОДА

Думы

Невменяемость	55
Нас двое	56
«Да, я устал, устал, и сердце стеснено!»	57
«За то, что вы всегда от колыбели лгали»	58
Формы и профили	59
Lux aeterna	61

Заря во всю ночь	62
«Я задумался и — одинок остался»	64
«Где только крик какой раздается или стенанье»	65
«Скажите дереву: ты перестань расти»	66
«Где только есть земля, в которой нас заруют»	67
На рауте	68

Женщина и дети

«Будто месяц с шатра голубого»	69
«О, если б мне хоть только отраженье»	70
«Ты нежней голубки белокрылой»	71
«Ты сидела со мной у окна»	72
«Мне ее подарили во сне»	73
Невеста	74
«Я ласкаю тебя, как ласкается бор»	75
В бурю	76
Из чужого письма	77
Приди!	79
«В костюме светлом Коломбины»	81
«В красоте своей долго старея»	82
Колыбельная песенка	83

Лирические

«Дай мне минувших годов увлечения»	84
«О, не брани за то, что я бесцельно жил»	85
Бандурист	87
Разбитая шкуня	89
«В немолчном говоре природы»	91

Карнавалы	92
Миф	93
«По небу быстро поднимаеяь	94
Камаринская	95
Про старые годы	96
«С моею чисто русской жаждой»	97
«Нет! Слишком ты тешишься счастьем мгновенья»	98
«Когда обширная семья»	99
«Нет, жалко бросить мне на сцену»	100

Мгновения

Кукла	102
«Каждую весною в тот же самый час»	103
«Последние из грез, и те теперь раз- бились!»	104
«Рано, рано! Глаза свои снова закрой»	105
«Очи внавшие, рот завекшийся»	106
«Градины вынали! Счета им нет...»	107

Черноземная полоса

«Полдневный час. Жара гнетет ды- ханье»	108
«Горячий день. Мой конь проворно»	109
«Как красных маков, раскидало»	110
«В поле борозды, что строфы»	111
«Стоит народ за молотьюбою»	112
«Чернеет полночь. Пять пожаров!»	113
«По крутым по бокам вороного»	114
«Малость стемнело, девица поет»	115
«Заросилась. Месяц холит»	116

Устал в полях, засну солидно	111
По завалинкам у хат	118
«Прекрасен вид бакчи нагорной!»	119
«В одежде выцветшей и бурой»	120
Саван белый. . . Смерть — картина	121
Нет ограды! Не видать часовни!	122

Мурманские отголоски

«Будто в люльке нас качает»	123
След бури не исчез. То здесь, то там мелькают:	124
Здесь, в заливе, будто в сказке»	125
И подумаетесь, бросив на край этот взоры»	126
Неподвижны очертанья	127
Какие здесь всему великие раз- меры!»	128
«Взобрался я сюда по скалам»	129
«Когда, на краткий срок, здесь ясен горизонт»	130

Из природы

На реке весной	131
Рассвет в деревне	132
Прощание лета	133
«Старый плюш здесь ползет»	134
Снега	135
Осенний мотив	136
Утро	137
Утро над Невой	138

Мефистофель

I. Мефистофель в пространствах	140
II. На прогулке	142
III. Преступник	144
IV. Шарманщик	145
V. Мефистофель, незрямый на рауте	147
VI. Цветок, сотворенный Мефистофе- лем	150
VII. Мефистофель в своем музее	152
VIII. Соборный сторож	154
IX. В вертепе	156
X. Полишинели	158

Из дневника одностороннего человека

«Из Каира и Ментоны»	160
«Да, пычке нравятся «Записки», «Днев- ники»!»	161
«Не стонет справа от меня больной»	162
«И они в звуках песни, как рыба в воде»	163
«Вся земли — одно лицо! От века»	164
«Еду по улице: люди зевают!»	165
«Мой друг! Твоих зубов остатки»	166
«Вот новый год нам святцы при- несли»	167
«Я сказал ей: тротуары грязны»	168
«Свобода торговли, опека торговли»	169
«Каких-нибудь пять-шесть дежурных фраз»	170

Баллады, фантазии, сказы

Статуя	171
Весталка	173
Мемфисский жрец	175
Ночью в лесу	178
Людские вздохи	180
Последний завет	182
Бравн	186
Петр I на каналах	189
Новгородское предание	193
О чудодейном коне	195
Церковный сторож	198
Карлы	201

В пути

В Заонсжье	202
На волжской ватаге	203
На Волге	206
Ханские жены	208
Вечер на Лемане	210
Monte-Rancio	212

За разные случаи и смесь

«Умерший давно император»	214
Коллежские ассессоры	216
После казни в Женеве	219
«Забыт обычай похоронный!»	220
На Раздельной	221

ПЕСНИ ИЗ «УГОЛКА»

«Здесь счастлив я, здесь я свободен»	225
«Мой сад оградой обнесен»	227
«Воспоминанья вы убить хотите?!»	229
«Иной хотелось бы всех весенней весны»	230
«Вот — мои воспоминанья»	232
«С простым толкую человеком. . .»	233
«И вот, сижу в саду моем тенистом»	234
«Шестидесятый раз снег предо мною тает»	235
«Старый дуб листвы своей лишился»	237
«При свете трепетном лампы в час ночной»	238
«Если б все, что унадеет»	239
«Нет, никогда никто всей правды не узнает»	240
«Да, да! Всю жизнь мою я жадно собирал»	241
«Ты не гонись за рифмой своеправной»	242
«Кому же хочется в потомство перейти»	244
«Как в рубинах ярких — вокруг кусты малины»	245
«На коне брабантском плотном»	246
«Нет, верба, ты опоздала»	248
«Помню: как-то раз мне снился»	249
«Я видел Рим, Париж и Лондон»	250
«Раз один из фараонов»	252
«Сказочку слушаю я»	254
«Признай льда все море обрамляют»	255
«Со всем примерная семья!»	256
«Как ты чиста в покое ясном»	257

«Вы побелели, кладбища граниты» . . .	258
«Стою я с ужасом у гроба!»	259
«Пара гnedых», или «Ночи безумные» . . .	260
«Я знаю кладбище. С годами»	261
«На гроб старушки я дряхлеющей рукой»	262
«Здравствуй, товарищ! Подай-ка мне руку»	263
«Меня в загробном мире знают»	264
«Я помню ужас смерти этой. . .»	265
«Лес густой; за лесом — праздник»	266
«Славный снег! Какая роскошь! . . .»	267
«Как на свечку мотыльки стремятся»	268
«Тьма непроглядна. Море близко»	269
«Погасло в них бывшее»	270
«Мой стих — он не лишен значенья	271
«Полно! Прислушайся к лесу. . .»	272
«Не померяться ль мне с морем?»	273
«Что им стиха размерный звон?»	275
«Не храни ты ни бронзы, ни книг»	276
«О, неужели же на самом деле правы»	277
«Глядишь открытыми глазами»	279
«Меня здесь нет. Я там, далеко»	280
«Я плыву на лодке. Парус»	281
«Здесь все мое! — Высь небосклона»	283
«Что тут писано, писал совсем не я»	284

**СТИХОТВОРЕНИЯ 1899—1904 ГОДОВ.
НЕ ВОШЕДШИЕ В ОТДЕЛЬНЫЕ КНИГИ**

Богиня тоски	287
Цыганка	290
«Смотрит тучка в вешний лед»	292

«Унала молния в ручей»	293
«Ты поклонись, — она его просила»	294
Рецепт Мефистофеля	295

Приложение

Ранние редакции

Формы и профили	296
«Последним льдом своим снирая»	298
Шарманщик	299
После казни в Женеве	301
Примечания	303
От редактора	305

ответств. редактор Н. Степанов. Технич. редактор А. Кирнарская. Корректор Р. Бекетова. Художник В. Двораковский. М 34 257 СП—79/Л. Тираж 10 000. Сдано в набор 6/VII 1940 г. Подписано к печати 26/XI 1940 г. Печ. л. 4³/₄. Уч.-изд. л. 9,68. Гум. л. 2³/₈. Формат бум. 70 × ¹⁰⁶/₆₄. Кол. знаков в 1 сум. л. 149000. Ленизгиздат, тип. № 2, Ленинград Социалистическая, 14. Заказ № 4219.

3 р. 25 к. Переплет 1 р. 25 к.